

# Денис Драгунский

Кто я? “Дениска из рассказов”  
или Денис Викторович Драгунский?  
Или оба сразу?

Подлинная  
жизнь  
Дениса Кораблёва



Драгунский: личное

Денис Драгунский

**Подлинная жизнь Дениса  
Кораблёва. Кто я? «Дениска из  
рассказов» или Денис Викторович  
Драгунский? Или оба сразу?**

«Издательство АСТ»

2023

УДК 821.161.1-31  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

**Драгунский Д. В.**

Подлинная жизнь Дениса Кораблёва. Кто я? «Дениска из рассказов» или Денис Викторович Драгунский? Или оба сразу? / Д. В. Драгунский — «Издательство АСТ», 2023 — (Драгунский: личное)

ISBN 978-5-17-154511-6

Новая книга Дениса Драгунского – «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» – почти автобиографический роман, путешествие вглубь себя, диалог со своим литературным двойником. Про семью, про детство и взросление в Москве 1950–60-х годов, про папу с мамой и круг их друзей; про квартиру в Каретном Ряду и дом в писательском поселке, про дачных и школьных приятелей, про первые влюбленности, про зависть, жалость, глупость и счастье. Про выдуманного Виктором Драгунским вечно веселого мальчишку Дениску Кораблёва – и про настоящего Дениса Драгунского, которого с ним часто путают. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-31  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-154511-6

© Драгунский Д. В., 2023  
© Издательство АСТ, 2023

## Содержание

1. Самое начало. Рождественский бульвар	6
2. Покровка	14
3. Соседи	17
4. Бабушка и я	21
5. Родственники	24
6. Казанская дорога	26
7. Бабушка Аня и дедушка Вася	30
8. Улица Грановского	32
9. Слова и смыслы	39
10. Дошкольные подробности	44
11. Первые смерти	51
12. Брат Лёня и бабушка Рита	56
Конец ознакомительного фрагмента.	63

**Денис Драгунский**  
**Подлинная жизнь Дениса Кораблёва.**  
**Кто я? «Дениска из рассказов» или Денис**  
**Викторович Драгунский? Или оба сразу?**

© Драгунский Д.В.

© ООО «Издательство АСТ»

## 1. Самое начало. Рождественский бульвар

Мне было лет восемь.

Мы с папой шли по Моховой. Мы вышли из нашего двора на улице Грановского, повернули налево, вышли на улицу Герцена и пошли направо. На другой стороне был Зоологический музей, куда я так любил бегать, смотреть чучела зверей и птиц – кажется, меня туда пускали бесплатно: совсем маленький. Там сильно пахло нафталином, особенно на втором этаже. В самом конце, после всех тигров и обезьян, в дальнем стеклянном шкафу стоял скелет человека. Я его боялся и близко не подходил.

На доме пять по Герцена были ампирные маски львов, похожие на дедушку Васю, маминого папу.

Мы перешли улицу и пошли налево. Справа от нас было пустынное великолепие Манежной площади, завершённое грандиозной приземистой избой Манежа. Желто-белый Арсенал глядел из-за красных стен Кремля, понизу подвеченных слабой зеленью Александровского сада. Смешные башенки Исторического музея. Серый айсберг гостиницы «Москва».

Мы с папой прошли мимо желтого университета, потом мимо бежевого дома с огромными колоннами. На углу, у дома с большими окнами папа вдруг остановился и помахал кому-то в окне рукой. Сказал: «Зайдем на минутку». Мы свернули за угол, вошли в стеклянные двери, которые нам открыл человек в черном костюме с серебряными полосками, и прошли мимо витрины с пирожными – я на ходу повернул голову и даже успел заметить зелено-розовые *корзиночки*, бархатистые с тремя точками крема *картошки* и присыпанные слоистой крошкой *наполеоны*.

Мы вошли в зал ресторана, и там за столиком у окна сидел человек; он повернулся к нам, страшный старик, с большим, острым, но уплощенным, как бы придавленным книзу носом, с сизыми космами на блестящем выпуклом лбу. Перед ним стоял графинчик с желтым вином и тарелка с обкусанным бутербродом. «Вот, – сказал папа. – Сынище. Зовут Денис».

Старик положил мне руку на плечо, притянул к себе. У него были маленькие голубые глаза. Он потрепал меня по плечу и сказал, что вот нас уже трое. Значит, надо *на троих*. И поэтому чтобы папа *распорядился*. От старика чем-то сильно пахло, как будто валерьянкой, но не совсем.

Я сказал: «Здрассте». Он улыбнулся своим глубоко вмятым ртом и отпустил меня. Папа позвал официанта. Официант принес еще графинчик и бутерброды с колбасой. Старик с папой о чем-то поговорили. Потом папа с ним попрощался, и я тоже. На улице я спросил: «Чем от этого старика пахнет? Как будто валерьянкой?» – «Перегаром», – сказал папа. «А это что?» – «Неважно, – сказал папа. – Ты читал «Три толстяка»? Это он написал». – «Нет еще, – сказал я. – У нас есть такая книжка, я видел. Я прочитаю!» – «Да-да, конечно», – сказал папа.

Я помню, папа говорил мне, что он когда-то показывал меня Юрию Олеше. Но я ничего не помню, кроме вот этого рассказа папиного, этих папиных слов. Но мне прочно кажется, что это на самом деле было. Впрочем, может быть, это и на самом деле *было на самом деле* – ведь не стал бы мне папа врать? Да и зачем? В расчете на мои будущие мемуары? Даже смешно. Но ведь папа любил слегка присочинить.

Выйдя из ресторана, мы пошли дальше. Но куда? Вверх по улице Горького?

Например, в знаменитый книжный магазин № 100, который у памятника Юрию Долгорукому? Или в кафе-мороженое, чтобы «смутузить по две порции» и запить газированной водой «Кахетинская», как написано в рассказе «Девочка на шаре»? Нет, разумеется! Потому что в таком случае мы бы не стали идти по Моховой вдоль Манежной, а сразу бы нырнули в переулок под названием «Улица Белинского» (ныне Никитский переулок) – кстати, на углу которого и был Зоологический музей.



Значит, мы шли куда-то еще и по дороге зашли в «Националь». Но куда? Конечно же, в «Детский мир», это было совсем недалеко. Зачем мы шли в «Детский мир»? Конечно, покупать мне игрушку. Какую? Конечно же, грузовик, игрушечный самосвал, тот, который я потом отдал своему другу Мишке Слонову за светлячка – как и написано в рассказе «Он живой и светится». Один из первых и самых лучших «Денискиных рассказов». Всё сходится.

Всё, кроме одного.

В каком-то детском журнале мне задали вопрос: «Какие игрушки из вашего детства сильнее всего повлияли на вас?» Чего тут долго думать? Конечно, старый плюшевый мишка из рассказа «Друг детства» и тот самый самосвал. Верность, доброта, сопереживание – и хрупкая живая красота в противовес холодной жестяной пользе. Как прекрасно.

На самом деле этих игрушек не было. Папа придумал и про светлячка, и про плюшевого мишку. Но придумал так, что я всей душой поверил, что они у меня были. Хотя знал, что их не было.

Поэтому мне иногда трудно провести границу между собой, то есть Денисом Драгунским, и Денисом Кораблёвым, который тоже – я. Границу между выдуманной жизнью Дениса Драгунского и подлинной жизнью Дениса Кораблёва.

Подлинная жизнь Дениса Кораблёва состоит из каких-то нелепостей.

Взять, например, Сашку Гинзбурга. Мама и папа говорили мне всё время: если бы не Сашка Гинзбург, тебя бы на свете не было. «Пришла к Сашке Гинзбургу в гости, а там молодой и веселый артист», – говорила мама про папу. «Как у Сашки было прекрасно. Большая комната в коммуналке, много народу, и там я увидел молодую и красивую студентку ВГИКа», – говорил папа про маму. В общем, сплошной Сашка Гинзбург.

Проницательный читатель, должно быть, уже догадался. А если не догадался, я подскажу: Сашка Гинзбург – это не кто иной, как Александр Галич. Уже потом, в 1960-е годы, папа с мамой не очень активно с ним общались, но все-таки бывали у него в гостях. Рассказывали о нем и о его жене, которая была ужасно худая, и поэтому ее звали «Фанера Миловская». Тогда он был знаменит – уже не как драматург, автор популярных пьес и сценариев, но как совершенно культовый, говоря по-нынешнему, бард. Хотя тогда и слов таких не было. Просто говорили «песни Александра Галича». То есть постоянно слыша о Сашке Гинзбурге, он же Александр Галич, как своего рода крестном отце, я так с ним и не познакомился, хотя имел сотню возможностей.

Так у меня часто бывало. На дачных аллеях, уже гораздо позже, я постоянно видел Твардовского и Симонова, но почему-то ни разу с ними даже не поздоровался, не говоря уже о том, чтобы в расчете на будущие мемуары задать хоть какой-нибудь вопрос – например: «Александр Трифонович, как сегодня вода в речке, теплая, можно купаться?» или: «Константин Михайлович, кто вам больше нравится – Киплинг или Гумилев?». Не сомневаюсь, что какой-нибудь ответ я бы непременно получил. В конце концов, это были незлые и интеллигентные люди. Вряд ли бы они грубо шуганули соседского мальчишку, сына своего не слишком знаменитого соседа. Но однако я пробегал мимо, иногда осторожно разглядывая то красивый, чуть восточный смуглый профиль Симонова, то мужиковатое, с маленьким курносом носом лицо Твардовского, а иногда наоборот – то ли гордо, то ли смущенно отворачиваясь от них, когда они шли навстречу. И потому рассказы о встречах с разного рода незаурядными личностями, которых в своей жизни я перевидал немало, особенно в жизни детской, будут, скорее всего, мемуарами живописца, а не писателя. Просто картинки.

Однако рассказать кое-что все-таки придется. Но это по большей части будет о себе, а также о папе с мамой, друзьях-приятелях и разных ничем не замечательных личностях, с которыми я общался всю свою молодость. Но уж какие есть. Вам они, может быть, не замечательные, а мне – нравятся. Может быть, всего лишь потому, что других у меня не было.

Так что начнем.

Денис Кораблёв, то есть я, – позже мы попытаемся разобраться в отношениях этих двух персон, но пока объединим их в одно, – итак, Денис Кораблёв, то есть я, родился в первой половине прошлого века. Смешно сказать, две недели и два дня отхватил из первой половины, родившись 15 декабря 1950 года.

Позже родиться я никак не мог – это мне объяснила моя детская подруга Маша Зверева, дочка хорошего, рано умершего советского писателя Ильи Зверева – настоящее имя Изольд Замдберг, но по совершенно понятным причинам он взял псевдоним. Папа с Изольдом дружил, и особенно дружили моя мама Алла и жена Изольда Женя. И вот, рассказала мне Маша, примерно 8 марта 1950 года – то ли в предыдущую субботу, то ли в следующую – они вчетвером где-то остались ночевать. Была чья-то пустая удобная квартира, поэтому можно было улечься попарно, в разных комнатах. «Ну и вот, – завершила Маша, – шестого декабря родилась я, а пятнадцатого ты. Потому что заделали нас одновременно».

Мои мама и папа познакомились и сошлись в октябре 1944 года (в октябре 1945-го мама подарила папе десятый том Стендаля из знаменитого «желтого» собрания сочинений – с надписью «В день нашей годовщины»). Но расписались они только в июле 1950-го, когда я в мамин живот уже образовался со всей несомненностью и рельефностью.

Совсем недавно, буквально год назад, я узнал, в каком роддоме я родился. Я, конечно, подозревал, что это тот же самый роддом, в котором в декабре 1965 года родилась моя сестра Ксения, а потом в ноябре 1974 года – моя дочь Ирина. Но вот Ира раздобыла папочку со старыми справками у моего племянника, Ксюшиного сына. Ура, это был тот же самый роддом. Сейчас он имени Абрикосовой, в честь благотворительницы, которая построила его в начале XX века, а тогда, разумеется, назывался роддомом имени Крупской. Официально – справка была выдана в 1950 году – «имени Н.К.Ульяновой-Крупской». Я впервые узнал, что у Надежды Константиновны, оказывается, была двойная фамилия.

Первый год своей жизни я прожил на Рождественском бульваре. Там в какой-то коммуналке была комната, которая принадлежала – настолько, насколько слово «принадлежать» применимо к тогдашней жизни, – папиному троюродному брату Мише Аршанскому. Он был ленинградец. Они с папой очень дружили. Осталась переписка, дружеская, внимательная и нежная. Эти два человека действительно любили друг друга, интересовались каждым шагом, каждым движением, каждым событием и, главное, каждой мыслью. О любви, об истине, о симпатиях и антипатиях, о честности и подлости, о прочитанных книгах... Длинные письма. Может быть, когда-нибудь я их разберу и перепечатаю.

Судьба у Миши была непростая. Он был, как говорила мне мама, блестящий офицер, стал подполковником чуть ли не в двадцать пять лет. «Ездил по делам» в Иран, но вдруг его карьера резко застопорилась, из армии он ушел и стал ученым-электротехником, а немного позже – организатором науки и производства, выражаясь официально. В те годы, когда я его хорошо помнил, он был заместителем директора НИИ ферритов в Ленинграде. Феррит – это магнитный диэлектрик. Когда я, как все мальчишки 1950–60-х годов, начал паять самодельные транзисторные приемники, дядя Миша привозил мне ферритовые сердечники для антенн. Среди книг с автографами, которые стояли у папы на полке у письменного стола, была небольшая книжечка вот с таким названием: «Керамические конденсаторы малой реактивной мощности». Это была Мишина книга с надписью: «Моему дорогому брату от автора, который всю жизнь хотел писать про другое, но не сумел».

Женой Миши была совершенно замечательная женщина Галя, то есть Галина Викторовна Иллюбиева. Она заведовала кафедрой геохимии в Ленинградском горном институте. Как-то мы с ней гуляли по Васильевскому острову, и она невероятно легко, интересно и даже как-то весело – именно весело! – рассказывала мне, как добывают остатки цветных металлов



из рудных отвалов. Мне было лет пятнадцать тогда, и я говорил маме, что хочу вот такую жену, как Галя. «Какую – такую?» – удивлялась мама. «Умную! Умную! Умную!» – чуть ли не кричал я. Забегая вперед, скажу – сбылось!

У Гали был брат Владик, то есть Владислав Викторович, инженер, изобретатель, участник атомного проекта и крупный чиновник в оборонной промышленности. Блестящая карьера, ордена, премии, огромное обаяние и много водки. Помню, как однажды в знаменитом поселке Комарово под Ленинградом, где была дяди-Мишина дача, мы вместе с Владиком ходили в сельский магазинчик, и он, слегка красуясь передо мной, перед продавщицей и очередью, говорил: «Триста грамм конфет, бутылочку лимонада и водки шесть бутылок». – «Сколько?» – изумилась продавщица. Он уточнил: «Пожалуй, все-таки семь».

Кто был Мишин отец, я точно не знаю. Об этом как-то не говорилось. А маму его, старушку Полину Михайловну, очень маленькую, очень тоненькую, изящную и – судя по выражению лица – несколько надменную и капризную, я помню прекрасно. Моя мама шепотом говорила мне, что Миша – безупречный сын, потому что Полина Михайловна относилась к нему, мягко говоря, легкомысленно: бросала его, оставляла у каких-то туманных дальних родственников, а то и вовсе какие-то годы он проводил, что называется, в детских учреждениях. Однако Миша (тут мама поднимала палец) был безупречным сыном, и как только встал, что называется, на ноги, он тут же принялся заботиться о своей матери. Устроил ей жилье, помогал деньгами, постоянно к ней ездил. То есть не просто деньги переводил, а именно что заботился в самом прямом и непосредственном смысле. И так до самой ее смерти.

Полина-то Михайловна и была связующим звеном между семьями. Она была двоюродной сестрой моей бабушки, папиной мамы. А еще у Полины Михайловны был знаменитый брат, Исаак Михайлович Кауфман, главный библиограф библиотеки имени Ленина, то есть как бы главный библиограф страны, автор толстых словарей и справочников. Когда Исаак Михайлович умер, дядя Миша, его племянник, перевез к себе в Ленинград на дачу всю его библиотеку и весь архив, нескончаемые картотеки, которые были заделом для будущего какого-то словаря. Я как раз тогда заехал к дяде Мише и дивился этим рядам кожаных тисненых переплетов, что расположились на свежеструганных полках, специально сколоченных для такого случая. Дядя Миша сказал мне: «Выбери себе одну-две-три книжки и возьми на память». Смешно, но я так ничего и не смог выбрать. Интересных книжек на разных языках было так много, что выбрать одну, две или даже три не было никакой возможности. Помню, там было красивое издание «Заратустры» Ницше на немецком языке. Зачем это мне, подумал я, только перед девочками хвастаться; немецкий я знал кое-как. Еще был чудесный четырехтомник Шекспира на английском, в довольно редком издании – «Издательство английских рабочих в СССР». Ведь были и такие; и английские, и американские, и немецкие, и какие угодно рабочие приезжали в Советский Союз помогать строить коммунизм, и вот даже издательство организовали и Шекспира издали. Мне сначала захотелось попросить у дяди Миши этот темно-синий небольшой четырехтомник – там были все пьесы, но напечатанные мелким шрифтом и на тончайшей бумаге. Я даже представил себе, как красиво он встанет на книжную полку в моей комнате и как умные девочки будут говорить: «Ух ты!» – а я буду говорить: «А то!» – но трезвость взяла верх, что, как я понимаю теперь, странно для двадцатилетнего парня. Да, трезвость взяла верх, потому что в тот же миг я понял, что, конечно же, не буду читать этого Шекспира. Ведь я пробовал, еще давно. Шекспир по-английски труден и, если честно, не так и интересен, во всяком случае мне в тот самый момент. А выпрашивать у дяди такую дорогую игрушку, даже не игрушку, а просто красивую блямбу на книжной полке мне вдруг стало неловко, и я сказал: «Нет, спасибо, что вы. Не надо».

Но пока вернемся на Рождественский бульвар.

Разумеется, я не помню эту комнату. У меня есть только две фотографии. Одна – где папа разговаривает по телефону, телефон эбонитовый настольный, с большим диском, на котором видны цифры и буквы, но разговаривает папа не на самом деле, а позируя перед фотографом. А вторая фотография – где я лежу, голенький пупсик задницей кверху, на фоне книжных полок, а на этих полках помимо книг, знакомых мне уже по взрослой жизни, – например, собрания сочинений Гоголя в узеньких томах в суперобложках как будто из карельской березы, в желто-черных разводах, – стоят еще две фотографии: Михаил Ромм, режиссер, в чьем фильме играл мой папа (его единственная кинороль), и приятный пожилой мужчина с усами, который сосредоточенно раскуривает трубку, но при этом с дружелюбным подмигом смотрит в объектив, то есть Сталин. Такой вот интимный домашний Сталин, под которым жил не только весь советский народ в целом, но и я в частности.

Потом, как я уже сказал, у Миши Аршанского что-то случилось на его военной службе, в результате чего комнату у него отобрали, и мы переехали к бабушке на улицу Чернышевского, раньше и нынче Покровка, дом 29, квартира 20. Но поселиться там было непросто. Дело в том, что в этой квартире когда-то давно жил мой папа. Еще тогда, когда бабушка переехала в Москву из Гомеля вместе с моим папой, которому было около десяти лет, и своим новым мужем, опереточным артистом Михаилом Рубиным. Бабушка моя была просто учрежденческая секретарша и, наверное, машинистка – у нее была пишущая машинка, и она иногда на ней что-то печатала. Именно в этой комнате родился папин брат, второй бабушкин сын, Лёня.

Бабушкина судьба – это целый роман или даже Шекспир. Тот самый Шекспир, от которого я столь легкомысленно отказался. Может быть, как раз надо было прочитать его эдак в оригинале, со словарем и что-то понять про себя, про бабушку и вообще про жизнь.

Бабушку мою звали Рита Львовна. Ее папа, Лев, или Лейба, Драгунский, был учитель и социал-демократ, известный в своем городе, в Гомеле. Организатор еврейской самообороны во время погромов.

Бабушка рассказывала мне потом, когда я был уже подростком: «Я долго не могла полюбить Чехова. Ты знаешь почему? Из-за его внешности. Его пенсне и борода приводили меня в бешенство. Я помню, когда я была маленькой девочкой и мы прекрасно жили в нашем домике в Гомеле, примерно раз в полгода наступал ужасный вечер, когда к папе в гости приходили вот такие господа в пенсне на шнурочках и с интеллигентными козлиными бородами, а потом рано утром, а может быть, прямо ночью в дом вламывались жандармы и уводили папу в тюрьму. Сидел он там недолго, по две-три недели. Его быстро выпускали, за него кто-то заступался, может быть кто-то из родителей его учеников, но все равно какое-то время он сидел. И мы с мамой ходили в тюрьму. Я помню, – смеялась бабушка, – хоть и немножко стыдно вспоминать, что мама приносила папе целую корзинку плюшек. И пока они сидели на лавке и разговаривали, я съедала их почти все. Мама ругалась. Папа смеялся. Вообще, я была очень прожорливая, – говорила бабушка. – Меня звали «чугунная баба», потому что я была к тому же еще и толстая. Похудела потом. А в детстве – ой-ой-ой. Помню, как приходил мороженщик, приносил мороженое в каких-то кружечках, – вот не помню, из чего они были сделаны, то ли картонные, то ли не пойми какие, – и к ним полагалась маленькая костяная ложечка бесплатно. Мама просила меня: «Рита, дай мне хоть ложечку попробовать». Потому что папа хоть и был учитель, но денег у нас все равно всегда не хватало. И смешно подумать, что у мамы не было лишнего пяточка купить мороженого себе. Впрочем, не знаю, как там было на самом деле, но она мне говорила: «Рита, дай ложечку, мне тоже хочется». А я говорила: «Отойди, мама, я поем и тебе оставлю». А потом как-то так ложечка за ложечкой, вдруг оказывалось, что там на дне ничего не оставалось, хотя я честно хотела оставить маме хоть четверть, ну хоть на доньшке. Мама говорила: «Эх!» А мне было стыдно, я говорила: «Ладно, в другой раз купи только себе, а мне не надо». Но в другой раз повторялось то же самое».

Когда бабушке было шестнадцать лет, она влюбилась в Юзефа, сына лавочника по соседству. Моя мама говорила (наверное, со слов бабушки, потому что иначе откуда ей было знать), что отец Юзефа по имени Фалк (по-русски Павел) был старьевщик-барахольщик (говоря по-нынешнему, торговал секонд-хендом) и что был у него такой специальный фокус (говоря по-нынешнему, ноу-хау). Дескать, этот самый Фалк ездил по местечкам и скупал разные старые лапсердаки, потом привозил их в Гомель в свою лавочку. А дальше клал во внутренние карманы или засовывал за подкладку лапсердака перевязанную бечевкой пачку резаной бумаги. Человек, какой-нибудь бедняк, пришедший разжиться ношеной одеждой, примерял этот лапсердак, хлопывал его и вдруг с трепетом ощущал, что за подкладкой спрятано что-то. Ощупывал пальцами сквозь материю, тихо, чтоб лавочник не заметил, – и понимал, что это спрятанная и забытая прежним владельцем пачка денег. И поэтому за лапсердак, которому красная цена была тридцать копеек, он немедленно и без разговоров платил рубль и бегом бежал домой. Ну и понятно, что он находил, засунув руку под подкладку. Однако жаловаться было невозможно, поскольку мало ли какую ерунду прежний дурак-хозяин может засунуть в карман своего лапсердака.

Когда я рассказал эту историю одной женщине, которая была дальней родственницей именно Фалка (моя двоюродная тетя со стороны дедушки Юзефа, отца моего отца), то в ответ получил возмущение и негодование. «Какая жалкая, какая пошлая клевета! – сказала она мне. – Фалк Перцовский был крупным коммерсантом. У него дома жили гувернантка-франуженка и гувернантка-немка, детей учили иностранным языкам». Так что и не узнаешь, что на самом деле было правдой. Вполне возможно, что моя бабушка, обиженная на своего первого мужа, рассказывала эти небылицы. Но может быть, родственница Фалка приукрашивала его богатство и образованность. Да и какая разница теперь-то.

Бабушка, кстати говоря, еще рассказывала, что Юзеф был совершеннейший шалопай. Что он не раз, надев черные очки и взяв наган, грабил лавку собственного отца, когда тот был в отъезде. Притворяясь грабителем, Юзеф говорил измененным голосом: «Хозяйка, отчиняй кассу», – обращаясь к своей сестре, которая за этой кассой и стояла. Сестра прекрасно понимала, кто перед ней, но не устраивала скандала. Впрочем, может быть, и это тоже легенда.

Но вот в 1913-м или в самом конце 1912 года бабушкин папа социал-демократ Лейба Драгунский неожиданно развелся с бабушкиной мамой и собрался, представьте себе, в Америку. За ним увязались моя бабушка Рита и ее молодой муж Юзеф. В Америке они с Лейбой Драгунским разъехались – тот занялся своими делами, а молодые стали пытаться как-то устроиться в Америке. У них не получилось ровным счетом ничего. Но зато в Нью-Йорке родился мой папа. Бабушка говорила, что это было в Бруклине, хотя американского свидетельства о рождении у нее не было, потеряла. Было голодно, не было молока, ребенка кормили толчеными бананами. И от такой жизни ранним летом 1914 года они решили возвращаться в Россию. Но бабушкин папа, Лейба Драгунский, остался в Америке и дожил там до 1928 года, кажется, когда и помер от заражения крови после удаления зуба. Недавно я узнал, что в начале 1920-х он переводил с итальянского на идиш детские рассказы. Вот такая, можно пошутить, генетика.

Рита с Юзефом и маленьким сыном Виктором, то есть моим папой, пересекли океан в обратном направлении и через всю Европу вернулись в город Гомель – и успели, как говорила бабушка, буквально за неделю до того, как государь император объявил всеобщую мобилизацию и началась Первая мировая война. Если бы они просейчаскались хотя бы месяц или даже две недели, вполне возможно, они не смогли бы вернуться в Россию по Европе. Может быть, застряли бы где-нибудь во Франции или не знаю где. А может быть, если бы они проваландались еще месячишко-другой, то, услышав о европейской войне, и вовсе бы не стали возвращаться в Россию.

Вот тут я думаю: если бы они остались в Америке или в Европе, то получается, что меня бы и не было? Сначала мне на самом деле так казалось. Но потом, после более тщательного обдумывания ситуации, я понял, что я, конечно, все равно был бы. Или, по крайней мере, мог бы быть. Причем от тех же мамы и папы. Представим себе, что мой папа стал актером – у него была полная возможность так или иначе оказаться в России, в Советском Союзе. Как раз тогда, когда мои мама и папа познакомились – в 1944 году, – мы очень даже дружили с Америкой. Сорокалетний американский эстражник российского происхождения вполне мог оказаться в той же самой компании Сашки Гинзбурга и познакомиться с молодой студенткой ВГИКа. Так что никуда бы я не делся. Да думаю, и вы все, друзья мои, тоже. Чуть напрягите воображение и поймите, что все равно родились бы на свет, причем от тех же самых мамы и папы.

Бабушкина шекспировская жизнь продолжалась. Они вернулись в Россию, где довольно скоро началась революция. За бабушкой стали ухаживать молодые красивые комиссары с маузерами и в кожаных куртках. И один из них, который, по несчастью, оказался не просто комиссаром, а начальником милиции Гомеля, – комбриг Ипполит Иванович Войцехович его звали, – завел с бабушкой серьезный роман. Юзеф был, естественно, возмущен. Он устроил бабушке грандиозный скандал со стрельбой. Как рассказывала мне бабушка, Юзеф, конечно, не хотел ее убить, он хотел ее просто припугнуть. Но револьвер у него был самый настоящий. Юзеф стрелял в землю ей под ноги, для остротки. Так часто делалось, объясняла мне бабушка. Тем более что никакой булыжной мостовой не было, никакой опасности рикошета. Пуля уходила в землю, но зато как страшно – пиф-паф. Но то ли у Юзефа дрогнула рука, то ли бабушка дрыгнула ногой – он попал ей в ногу возле лодыжки. Хорошо, только в мякоть. Я помню этот шрам, бабушка его показывала. Не знаю точно, из-за этого происшествия или по иной какой причине, но революционный комиссар Войцехович приказал расстрелять Юзефа Перцовского и женился на бабушке. Это было в 1919 году, кажется.

Папа мне рассказывал, что хорошо помнит Войцеховича. Это был веселый, совсем молодой мужик – чуть за двадцать лет. Однажды он даже взял с собой своего пасынка, то есть моего папу, на подавление Стрекопытовского мятежа. Был такой кусочек Гражданской войны, с провозглашением Русской республики в Гомеле, и был такой штабс-капитан Стрекопытов. Папа рассказывал, как он трясся на луке седла, а Войцехович придерживал его одной рукой. Папе тогда было семь лет самое большое. Стрекопытовцев порубали (сам Стрекопытов спасся, воевал, оказался в Таллине – и там его красные достали в 1940 году), и потом командиры отмечали победу, сидели и пили в большой прокуренной избе. Папа говорил, что помнит, как они сдвигали стаканы, помнит, как пласты синего махорочного дыма стелились по всей избе, затуманивая керосиновые лампы, а по полу бегала самая настоящая лиса, ручная. Ее можно было гладить.

Но то ли стрекопытовцы, то ли тайные друзья Юзефа постарались – через год комбрига Войцеховича убили. Застрелили просто на улице – так сказала мне бабушка. Хотя, по другим сведениям, его убили «зеленые» в бою с атаманом Галаком. Похороны были на весь Гомель. У меня даже есть фотография процессии. Речи, лозунги, проклятия убийцам... Но бабушка с маленьким сыном второй раз осталась без мужа. Она была очень красива – тогдашней красотой: черноглазая, нос с горбинкой, черные кудри. И поэтому она довольно быстро вышла замуж за тамошнего актера Михаила Рубина. Актера-универсала – и драматического и опереточного одновременно. Папа мне рассказывал, как он смотрел спектакль, в котором играл Рубин и который на идише назывался довольно смешно – «Ди пусте кречме», что в переводе значит, как вы уже, наверное, догадались, «Пустая корчма». Что-то мистическое про тайные убийства и появляющиеся призраки: народная мелодрама. Интересно, что рецензию на этот спектакль написал сам Лев Выготский, великий советский психолог, поскольку он тоже был из

Гомеля и в юности подрабатывал театральным обозревателем. Может быть, они с моим папой сидели на одном и том же спектакле.

Актер Рубин вместе с женой (то есть с моей бабушкой) и пасынком (то есть с моим папой) ездил по гастролям, время от времени возвращаясь в Гомель, но в 1923 году они переехали в Москву и поселились на Покровке, дом 29.

Папин брат Лёня, Леонид Михайлович, родился в 1924 году. А Михаил Рубин стал партнером известной опереточной актрисы Клары Юнг, потом уехал на гастроли в Аргентину, но по дороге задержался в Латвии, где и остался. Не везло бабушке с мужьями. Поэтому мой папа стал Драгунским, мамину фамилию получив, и своего второго сына бабушка записала тоже Драгунским.

Папа рассказывал мне про своего младшего брата. Как он приносил из детского сада «паек» – какую-то еду, чтоб поделиться со старшим и с мамой. Как старший варил пшеничную кашу и кормил младшего. Как они темными вечерами ждали маму с работы. Но у моего папы началась своя жизнь – он стал студентом, потом артистом, потом женился, у него родился свой сын, мой брат – тоже Лёня, кстати говоря. А бедный Лёня рос без присмотра и в конце концов сел по хулиганке и был призван на войну из знаменитого места в Мордовии под названием Зубова Поляна – были такие лагерные угодья. Он погиб в 1943 году под Калугой у деревни Печки Людиновского района – о чем сделана надпись на обелиске на братской могиле. Ему было восемнадцать.

Когда я поискал в интернете Михаила Рубина, оказалось, что он Менахем. Он дожил до 1962 года. Там была фотография его могилы на одном из еврейских кладбищ Нью-Йорка – красивый гранитный памятник с надписью: «От родных и близких, от детей и внуков». И я вспомнил обелиск у деревни Печки, и мне стало обидно.

## 2. Покровка

Когда же мы зайдем наконец в коммуналку на Покровке, куда поселились мы с моими папой и мамой?

Но тут нужна еще одна перебивка.

Прописка – могучий регулятор жизни советских людей! Получилось так, что мой папа, женившись на своей первой жене Ляле Корниловой, переехал к ней и туда же, по всем правилам, перепрописался. А когда он с ней довольно скоро развелся – естественно, его оттуда выписали. Некоторое время он был временно прописан в московской комнате Миши Аршанского, но потом его оттуда выселили и выписали – ведь Миша, напомним, уволился из армии, и комнату забрали. Так что настала ему пора перевозить новую семью, то есть мою маму и меня, к своей маме, моей бабушке Рите. И вот тут-то к нему стали приходить разные люди из домоуправления и милиции и спрашивать прописку. Хозяйка, или, вернее сказать, съемщица комнаты Рита, разумеется, тут же написала заявление: «Прошу прописать на мою жилплощадь моего сына Драгунского В.Ю.». Но ей отказали. Отказали моему папе, отказали моей маме, которая пыталась просить – как тогда говорили, «хлопотать» – за него. Дело в том, что как раз тогда в стране развернулась та самая «борьба с космополитизмом», то есть антисемитская кампания. И чиновники из домоуправления, а также милицейские дяденьки и тетеньки, лучезарно улыбаясь, говорили моему папе один и тот же текст: «Дорогой товарищ Драгунский, а что вы, собственно говоря, забыли в Москве? Почему бы вам не поехать в какой-нибудь другой хороший культурный город? – и, подмигнув, добавляли: – Например, в Бердичев или в Жмеринку. Или даже лучше, попробуйте устроиться в таком большом, прекрасном городе, как Одесса».

Смех смехом, но милиционер приходил все чаще и обещал, что нас выселят в административном порядке. Проще говоря – под белые руки и на вокзал. Москва – Жмеринка. Тогда моя мама решилась на довольно резкий и отважный шаг – обратиться к своему старому дворовому приятелю, который не имел никакого отношения к домоуправлениям и Министерству внутренних дел, а был просто военным высокого ранга, но при этом обладал определенным авторитетом – и вдобавок был депутатом Верховного Совета РСФСР. Мама записалась на прием, в назначенный день пришла в его кабинет, окна в котором были во всю стену и смотрели на летное поле аэродрома, что находился рядом с метро «Аэропорт», поскольку этот военный был командующим ВВС Московского округа. Она положила перед ним на стол заявление и сказала: «Вася, помоги по-соседски». Вася был старше моей мамы на два с половиной года. Они встречались во дворе дома на улице Грановского – Вася туда приходил в гости к своему брату Яше. Мама рассказывала, что Вася с тех пор почти не изменился. Был белобрыс, конопат и весел.

Вася вспомнил. Он достал авторучку – а может быть, умакнул перо в чернильницу – и наискосок заявления написал «Прописать!» и подпись – «Василий Сталин». Никакого отношения к прописочно-домоуправским делам он не имел, повторяю. Да и депутат тоже не мог давать указания милиции. Однако мама отнесла эту резолюцию в паспортный стол, и на завтра же к папе пришел милиционер, уже не лейтенант, а майор, и сказал: «Товарищ Драгунский, поздравляю, вы прописаны, живите, работайте, чувствуйте себя как дома!» – «Я и есть дома», – пробурчал папа в ответ. «Именно, – заулыбался майор, – именно это я и хотел сказать!» Еще раз пожал руку, отдал честь и ушел.

Ну как же моей маме было не пойти на похороны Васиного папаши!

Она взяла меня на руки (мне было всего-то два года с небольшим, и я был худенький) – и пошла по бульвару. Без спросу, потому что папа и бабушка были против. Слава богу, мой папа успел ее догнать (как и положено в таких историях, он вышел в булочную, вернулся, и ему

сказали: «Алла пошла Сталина хоронить!») – догнал в постепенно густеющей толпе у Чистых прудов, схватил за руку и потащил домой. Так что она не успела даже до Сретенского бульвара, не говоря уже о страшном месиве там, где Рождественский спускается на Трубную площадь.

И вот я перед вами! Но вдруг это очередная семейная легенда?

Есть знаменитая итальянская поговорка: «*Se non è vero, è ben trovato*» (если это неправда, то хорошо придумано). Но можно ведь и наоборот: «*Se è mal trovato, è vero*» (если это плохо придумано, какой-то шаблонный вымысел – то, скорее всего, это правда).

Стали мы жить-поживать в этой замечательной квартире.

В комнате нас было сначала четверо, а потом пятеро: бабушка, мама, папа, я и няня Ася, которая прожила у нас, наверное, года четыре. До этого тоже были няни, но все они были какие-то беспокойные. Например, одна все время говорила, обращаясь к моему папе: «Виктор Осипович (Юзефович – это было слишком сложное отчество, поэтому он сам представлялся как Виктор Осипович), можно я сейчас приду?» И вот так «сейчас приходила» она раз пять в день. Другая няня запомнилась вот таким происшествием. Бабушка попросила ее купить каких-то ниток и послала в галантерейный магазин на Кузнецкий Мост, объяснила, как идти. От Покровских ворот, где мы жили, не так уж далеко, можно добраться пешком, а можно на трамвае. А вернулась няня через несколько часов и сказала, что нет там никакого галантерейного магазина. «Как это? – сказала бабушка. – На Кузнецком Мосту прямо посередине!» – «Ей-богу нет! – ответила та. – Я и на мосте была, и под мостом была, а галантерейного магазина нету». Наверное, она встретила какую-то свою подружку и проболтала с ней на бульваре пару часов.

Надобно сказать, что найм домработницы тогда был серьезным делом. В Москве был «группком», то есть, по-нынешнему, профсоюз домработниц. Там надо было зарегистрироваться самому «хозяину», то есть работодателю, и зарегистрировать домработницу. Ей положено было платить оговоренную зарплату, не меньше установленного минимума, обеспечить один выходной день и оплаченный отпуск.

Домработницы довольно часто жили в той же комнате, что и хозяйева, спали на раскладушке, а иногда, если соседи не возражали, то и в коридоре. Я знал такие коммуналки, семей эдак на семь или восемь, бывшие барские квартиры, где в широком коридоре на узеньких топчанах или раскладушках спали три или четыре домработницы. Они говорили, что им так даже удобнее. Одна могла ходить в магазин за всех, другая сидеть с детьми за всех, а третья мыть полы за всех. В общем, советская жизнь была устроена довольно интересно.

Но вот наконец мы нашли няню Асю, чудесную, добрую, тихую, скромную, ласковую молодую женщину, которая умерла сравнительно недавно в возрасте ста двух лет.

Вот так мы и жили впятером в этой комнате.

Потихонечку шаг за шагом добираюсь до моих собственных впечатлений.

Квартира была очень большая и когда-то, наверное, очень роскошная. Она располагалась в бельэтаже – то есть от входа там был довольно длинный, но один лестничный марш прямо к двери.

Лет пятнадцать назад я был там, ткнул в запертую дверь подъезда, зашел во двор и посмотрел на наши окна. Я был почти уверен, что эту роскошную квартиру, как большинство в окрестных домах, давно уже переделали из коммуналки в великолепные апартаменты. Но увы, со двора я увидел немытые окна, в одном стояли полудохлые цветы, в другом – какие-то тюки, в третьем – какие-то бутылки. А где-то и вовсе фанерой заколочено. Видно было, что эта квартира так и оставалась бедной коммуналкой.



Большая двустворчатая филенчатая дверь была увешана почтовыми ящиками, по числу «комнатохозяев», так сказать, а на ящики наклеены вырезанные названия журналов и газет: «Огонек», «Работница», «Правда», «Известия» и так далее.

Был звонок, на котором был написан шифр, своего рода руководство – фамилии и сколько раз звонить. «Один длинный и два коротких, два коротких, длинный и один короткий», и внизу большими буквами: общий – один длинный. Надеюсь, не надо объяснять, зачем это.

В самом начале квартиры была довольно большая прихожая, из которой вели две двери – одна прямо, в небольшую комнату, другая налево, в комнату намного большую, разгороженную на несколько ячеек, – а потом уже вдаль коридор. На стене висел большой черный телефон – тяжелая трубка на прямом (не крученом) черном шнуре, металлический диск, на котором выгравированы буквы, а в дырочках видны цифры. Раньше телефонные номера были шестизначные и с буквами. Буквы были не просто так, они когда-то обозначали телефонные узлы. Буква «Б» – это Центральный телефонный узел, «Г» – Арбатский, «Д» – Миусский. Мой папа по старой, еще довоенной памяти диктовал телефоны так: «Арбат-один, пятнадцать, десять» или «Миуссы-три, ноль-четыре, пятнадцать».

Итак, телефон был приделан к стене. Рядом вбиты два гвоздика. На одном висел карандаш, привязанный на нитке, на втором нацеплено несколько тетрадных листочков: для общего блага, записать что-нибудь. Стена покрашена темно-бежевой масляной краской, и на ней всё равно написаны разные номера, фамилии и имена-отчества.

Часто повторялась такая сценка: телефон звонит, но никто не подходит. Никому не хочется выходить из комнаты да еще потом звать соседа: «Что я вам, секретарша бесплатная?» – думает каждый. Шесть, семь, восемь звонков... Вдруг три двери отворяются, три человека выскакивают в коридор, бегут наперегонки, сталкиваются около телефона. Который к тому времени уже перестал звонить. Обидно. Есть повод для небольшой коммунальной ссоры.

Бывало, один сосед ждет звонка, а другой сосед удобно расположился на табурете около телефона и треплется. Еще один повод поругаться.

### 3. Соседи

Но давайте же пойдем по коридору. По часовой стрелке, слева направо.

Итак, в самой первой (большой, разгороженной) комнате жила Ольга Натановна со своим мужем Зямой, дочерью Натусей (то есть Натальей Зиновьевной), ровесницей погибшего бабушкиного второго сына Лёни, а у Натуси был муж Саша и дочка Аллочка, которая мне так нравилась, что я всем говорил: «Когда я вырасту, я на ней женюсь». Аллочка сейчас в Бостоне, мы с ней иногда переписываемся в интернете. Ольга Натановна, однако, была не просто старой дамой – она была частнопрактикующим зубным врачом. Поэтому в одной из клетушек этой разгороженной комнаты был ее зубо врачебный кабинет с креслом и бормашиной, представляете себе. Больше того, там даже был маленький закуток-коридорчик, где, ожидая очереди, сидели больные. Иногда три или четыре человека. Жили же Ольга Натановна и вся ее семья в оставшейся части, в остальных клетушках (я туда ни разу не заходил), а может быть, кто-то даже и ночевал рядом с зубо врачебным креслом.

Я был очень читающий молодой человек. У меня тогда – а было мне лет пять – была толстая, с размятой картонной обложкой книга Маршака под названием «Сказки, песни, загадки». Я выучил оттуда два стихотворения. Одно короткое – «Баллада о неизвестном герое», а другое длинное, под названием «Ледяной остров». Я их очень любил и люблю до сих пор. Очень героические, про подвиг и самопожертвование. Да вы их, наверное, тоже знаете – «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографии нашей столицы...». А второе, про хирурга, который сделал операцию полярнику, спас ему зрение, кончалось вообще замечательно:

На море и небо он будет смотреть,  
На все, что нам дорого в мире, –  
Для этого стоило в бурю лететь  
На край отдаленный Сибири!  
Для этого стоило прыгать с высот  
В седой океан, на изрезанный лед,  
На снег между темных проталин,  
Куда вас на помощь товарищу шлет  
От имени Родины – Сталин!

Поскольку все это происходило до 1956 года, люди с флюсами и кариесами горячо мне аплодировали. А Ольга Натановна (которую моя бабушка называла Голда, впрочем, она, наверное, и была Голда) очень меня за это любила и давала конфеты.

В следующей комнате жила надменная старушка Вера Аркадьевна, вся в кружевных воротничках и длинных платьях. Моя бабушка, впрочем, не очень-то верила, что она Вера Аркадьевна, и называла ее Двойра Азриелевна. У моей бабушки было такое свойство – в каждом человеке подозревать еврея. Но вместо того чтобы говорить «еврей», она, учившаяся в Гомеле в частной гимназии, употребляла латинское выражение «ex nostris» (экс нострис), что в переводе значит «из наших», только произносила его в одно слово: «это экснострис» говорила она. «Ну вот, мы собрались в хорошей компании, половина экснострисов». Кстати говоря, выражение «из наших» в смысле «из евреев» встречается у Чехова.

Следующая комната была еще интереснее. Там жила очень похожая на Веру Аркадьевну старушка, которую звали Евгения Константиновна. Уже безусловно русская, даже с точки зрения моей подозрительной бабушки. Такая же, как предыдущая, только первая была смуглова-

тая, а эта – бело-розовая, как пастила, но тоже с седыми, совершенно серебристыми букольками, тоже в кофточке с кружевным воротничком и тоже с тонкими тусклыми колечками на пальцах и приторной улыбкой на устах. Ребята со двора, которые забегали в нашу квартиру, называли ее «Евгениська», и один парень мне сказал на ухо: «Ты с Евгениськой не водись. Она Ленина и Сталина не любит». Не знаю, почему он это сказал, но если про Веру Аркадьевну говорили, что она когда-то была директрисой женской гимназии, то про Евгениську шептались, что она была когда-то хозяйкой всей этой квартиры. Иногда, впрочем, в соседских разговорах они менялись местами, путались, и уже никто не знал, как там было на самом деле, а обращаться напрямую было неловко. Да и сами они не стремились прояснить ситуацию. Наверное, им обоим нравились эти мифы и легенды.

У Евгениськи был еще и муж. Его звали Григорий Маркович. Он сидел в инвалидной коляске. Я редко-редко видел его, когда Евгения Константиновна открывала дверь, идя на кухню, и не закрывала – наверное, чтобы проветрить комнату.

Пробегая по коридору мимо открытой двери, я останавливался и смотрел на Григория Марковича, а он смотрел на меня – красивый старик с длинной бородой и бакенбардами. Когда я подрос, я понял, на кого он похож – на какого-то революционного демократа 1860-х годов. Такой, что ли, постаревший Добролюбов или даже целый Чернышевский. На кухне шепотом рассказывали, – а я вертелся под ногами и все это слышал, – рассказывали, наверное, в сотый раз, что Евгения Константиновна бросила то ли мужа, то ли родителей ради Григория Марковича. То ли у нее был муж какой-то важный и богатый человек, то ли родители какие-то несусветные дворяне – но она влюбилась в Григория Марковича и всю свою жизнь ради него поломала.

Из-за их двери часто доносились скандалы, совершенно одинаковые. То есть я, конечно, не знаю, о чем они там спорили и ссорились. Я слышал только глухое бубнение Григория Марковича и тоненький голосок Евгении Константиновны. Но заканчивалось все это одним и тем же: Евгения Константиновна громко кричала: «Гриня! Ради нашей любви!», а Григорий Маркович в ответ басил: «Не надо жертв! Не надо жертв!» Он сильно шепелявил – наверное, зубов не было, – и у него получалось «увэфत्व». «Не надо увэфत्व!»

Ав следующей комнате жила молодая женщина Люба со своим сыном Петей – он был старше меня, ему, наверное, лет десять было, а мне четыре или пять. Люба была безумно худая. На стене у Любы (я тоже мельком видел через случайно открытую дверь) висел портрет этой самой Любы, где она была еще худее, с проваленными щеками и огромными глазами, как смерть. Когда я вырос большой и вспоминал эту картинку, мне казалось, что это был явный Мунк. «Она очень бедная! – шептала мне бабушка. – У нее изо рта пахнет голодом». Мне было и страшно, и неприятно одновременно.

Квартирная легенда говорила, что Люба – на самом деле дочка Евгении Константиновны от первого мужа, от того мужа, от которого она сбежала к Григорию Марковичу. Красиво. Но не совпадало с реальной хронологией, потому что тогда должно было быть, что Люба родилась задолго до революции, хотя по виду ей было от силы тридцать пять лет. Другие же говорили, что Люба – незаконная дочь Веры Аркадьевны (она же Двойра Азриелевна). В пользу обеих версий было то, что Люба жестко и демонстративно не здоровалась с обеими старухами, проходила мимо них как мимо вешалки.

Адальше квартира делала поворот налево. И там, в этом изгибе, было целых две комнаты, в которых жили Рябиковы: Петр Дмитриевич, его мрачная и грузная жена, которую все шепотом называли «Лошадь», и крупная красивая дочка Лёля лет тридцати. Я уже тогда – наверное, наслушавшись взрослых разговоров – грустно думал, что веселая красавица Лёля

с годами превратится в уродливую и злую Лошадь и как это все-таки неприятно и несправедливо. Нечестно!

Петр Дмитриевич был, скорее всего, на пенсии, потому что всегда ходил в пижаме в коричнево-желтую полоску. У него были седые, коротко стриженные, но чуть волнистые волосы и кирпично-бугристое лицо. Петр Дмитриевич частенько выходил на кухню, где женщины чистили картошку или мешали деревянной палкой кипящее белье в баке, и громко говорил: «Эх. Зашел в магазин, кругом очереди. Продуктов нету. А какие есть, стыдно смотреть. Да разве ж это картошка? И сколько ж все это может продолжаться, я вас спрашиваю?» Все женщины мрачно отворачивались и продолжали еще яростнее чистить картошку, мыть посуду или помешивать белье. Петр Дмитриевич вздыхал и выходил на черный ход курить. Однажды я спросил бабушку, поскольку наблюдал это не раз: «А почему с Петром Дмитриевичем никто не разговаривает?» Бабушка нагнулась ко мне и сказала, отчетливо выговаривая по слогам: «Он про-во-ка-тор». Я не понял, что это такое, но почувствовал, что это что-то ужасное, хуже, чем вор или пьяница.

Теперь возвратимся в прихожую и пройдем по правой стороне коридора. Прямо на входную дверь смотрела дверь комнаты, в которой довольно долго жила странная смешная дама. Может быть, сумасшедшая, а может быть, просто так. Примерно раз в три месяца она запиралась в своей комнате и не выходила оттуда сутки, а то и больше. Жильцы стучали в дверь, выкликали ее. К сожалению, я забыл ее имя-отчество. Потом приходил участковый со слесарем, дверь вскрывали. На кровати, — я все это рассказываю с маминих слов, разумеется, — красиво раскинувшись, со свесившейся до пола рукой лежала эта дама, укрытая одеялом до шеи. Рука вывешивалась отдельно. На прикроватной тумбочке стояло много-много пузырьков с лекарствами и лежала записка: «В моей смерти прошу винить...» — и длинный столбик фамилий. В комнату дамы входили все жильцы нашей квартиры, какие-то ее сослуживцы, управдом и даже участковый. Участковый, наученный опытом, уже не вызывал скорую помощь, а начинал даму расталкивать. И, как всегда, оказывалось, что это была передозировка люминала, но не слишком сильная, как раз чтобы проспять часов тридцать. Потом эта жиличка исчезла, не знаю куда. Может быть, ее забрали в сумасшедший дом, может быть, она просто переехала, а может быть, не дай бог, конечно, что-то напутала со сновидениями.

Вместо нее въехал некий завмаг, жена которого в каждый тираж займа выбегала на кухню и сообщала, что у нее выиграли две, три, пять облигаций. Соседи полагали, что она таким манером прикрывает левые доходы своего мужа.

А потом в эту комнату въехала интеллигентная семья по фамилии, кажется, Кучинские или Тучинские. У них была хорошенькая девочка Наташа, ей было лет двенадцать. Я хоть и понимал в свои пять лет, что она тоже относится к категории «дети», но для меня она была все-таки «большая девочка». Почему я пишу о ней так подробно? Потому что бабушка иногда говорила мне, щелкая меня по затылку: «Что это ты на Наташеньку засматриваешься? Она уже большая девочка, почти что девушка, а ты еще карапуз». Честное слово, я не помню, как я на нее засматривался, но, наверное, бабушка что-то замечала, хотя мне, повторяю, было ну самое большое пять лет, ну, может быть, шесть, но уж никак не больше. Я это говорю с такой точностью, потому что в школу я поступал, уже живя в другой квартире.

Следующая комната. В ней жили Рацеры. Интересная семья: Женя Рацер, точнее говоря, Евгений Яковлевич, его жена Зина и сын Дима, ненамного старше меня. Но мы с ним совершенно не общались и не дружили, потому что Дима занимался музыкой, целыми днями играл на своем пианино. И в конце концов из него вышел, говорят, неплохой пианист. У него даже поклонники есть, пишут про «исполнительское волшебство Дмитрия Рацера». Но вообще он человек загадочный. Я честно пытался что-то о нем разузнать, из стариковской сентиментальности — вот, дескать, в детстве жили в одной квартире. Но он очень плотно закрылся: никаких

социальных сетей, никаких адресов и телефонов. Ну и ладно. А мама его Зина была певицей, а папа Женя – дирижером, то есть самым тихим из этой семьи. Потому что пока Дима играл свои упражнения на пианино, мама Зина распевалась. Может быть, конечно, папа Дима дирижировал ими обоими, не знаю, я к ним в комнату не заглядывал, но шум был изрядный.

Мама рассказывала: Женя, то есть Евгений Яковлевич, был сыном знаменитого в нэпманской Москве коммерсанта Якова Рацера, который покупал и продавал все, что покупается и продается, но прославился углем для самоваров. О нем даже писал Паустовский в своих воспоминаниях – как Рацер стоял то ли на крыльце, то ли на балконе своего дома, а по двору двигалась целая кавалькада мужиков с тележками, на которых были нагружены десятилитровые, как пишет Паустовский, пакеты с самоварным углем. И на них было написано: «Чистый крепкий уголек, вот чем Рацер всех привлёк».

Дальше шла наша комната, но о ней чуть позже.

А сейчас будет последняя комната, маленькая, где жила маленькая старушка по имени Февронья Федоровна. Не знаю, кем она работала, но помню, что она была очень богомольная, все время ходила в церковь и громко обсуждала испорченные нравы прихожан. Я запомнил, как она жаловалась: «Стою у храми, а рядом мужик не на той стороне – это раз, и пердить – это два. Прислушалась – как есть пердить. Принюхалась – точно пердить. Это ж вы представляете себе – у храми пердить! Я б за это десять лет давала».

Потом шла кухня. Там было, как в любой коммуналке, несколько плит, три самое маленькое, и много-много кухонных столиков. Из кухни был ход на черный ход, то есть на черную лестницу, по которой в старые времена, когда были сплошные упоительные вечера и хруст французской булки, в квартиру поднималась прислуга, а также разносчики из магазинов. Этот черный ход был закрыт огромным, честное слово, огромным, метровой длины кованым крюком, который просовывался в такую же огромную кованую петлю. Не задвижка, а именно крюк. Левее были ванная и уборная. Странное дело, но я совершенно не помню эти заведения. Какое-то вытеснение по Фрейду, наверное. Ведь я же, простите, ходил в туалет. Ну, допустим, на горшок. Но этот горшок надо же было вылить? Меня же купали! Но как это было, я совершенно не запомнил.

## 4. Бабушка и я

Но вот наконец наша комната – наша с мамой, папой, бабушкой и няней Асей. В комнате было два окна (между окнами стояло трюмо с подзеркальником), но все равно было темно, солнце к нам никогда не заглядывало. Даже странно: богатая квартира в бельэтаже, у которой одна сторона совершенно темная. Как такое получилось, понять не могу. Может быть, дом напротив построили позже, совсем близко, метрах в пятнадцати, он тоже был высокий и свет заслонял надежно и плотно. Так что над столом у нас всегда горел абажур бежево-розового, очень абажурного цвета. Мне кажется, у всех абажуры были именно такие.

Моя кровать стояла в углу – обыкновенная детская кровать с жердочками. У меня есть фотография, где я стою в этой кровати, в руках кукла – Петрушка в колпаке. Фотографировал, вы будете смеяться, знаменитый фотограф Бальтерманц, осталось несколько таких фотографий, на них я вполне хорошенький маленький мальчик. А Петрушка потерялся. У меня вообще всё всегда терялось – памятные вещицы, дорогие книги, письма, которые свидетельствовали черт знает о чем, кольца, крестики, не говоря уже о перчатках и носовых платках.

Стены в комнате были без обоев, крашенные шероховатой бархатистой бежевой краской, а сверху накат – цветочный узор. Я помню, как я лежал в кровати, рассматривал эти узоры и видел в этих цветках лица и разных зверей. Чаще всего львов. Львы мне виделись очень часто. Забегая вперед, вспоминаю, как (уже на другой квартире) у меня была высокая температура, я лежал лицом к окну с задернутыми занавесками в крупных цветах, и вот эти цветы превращались во львов, которые взмахивали лапами и шли на меня почти как в знаменитом рассказе Брэдли «Вельд» (которого я тогда еще не читал).

На другой стене, как раз напротив моей кровати, висел портрет моего погибшего дяди Лёни, бабушкиного второго сына. Большая фотография. Пятнадцатилетий, наверное, парень. Красивый, с тонким лицом, похожий на своего папашу Михаила-Менахема Рубина. Лёня был в рубашке с воротником апаш, то есть выложенным на пиджак, а на лацкане значок с сияющим портретом Ленина. Этот значок, а также часы «Мозер», сломанные конечно, и еще какие-то вещицы типа школьных перьев и ластиков лежали у бабушки в картонной конфетной коробке в ее шкафу. Она мне их иногда показывала. Еще там лежало что-то тяжелое и железное, завернутое в носовой платок и сверху крепко и плотно перевязанное бечевками, так что под бечевками совершенно ничего не было видно и понятно. Как-то раз я все-таки распутал эти узлы, и бабушка меня за этим делом застигла. Это был самый настоящий «бульдог» – то есть револьвер. Но без патронов. «Раз ты все знаешь, – сказала бабушка, – придется мне с ним расставаться». Я стал клясться, что никогда никому ни за что не скажу, даже маме с папой. Бабушка махнула рукой, как-то странно усмехнулась, надела пальто, сунула «бульдог» в карман и ушла. Вернулась примерно через полчаса. Потом она мне по-разному говорила. Что отдала подруге, что выбросила в урну, что сдала в милицию, что утопила в пруду, благо жили мы на Чистых прудах. Я понял, что правды от нее я все равно не добьюсь. А когда мне бабушка показывала свою простреленную лодыжку, я спросил ее, а вдруг это тот самый револьвер, из которого в нее стрелял Юзеф. Но бабушка засмеялась и сказала: «Что ты. У него был серьезный наган или кольт, я не знаю. Но не эта игрушечка. А это просто так, от собак отстреливаться и поклонников пугать».

Еще у бабушки была японская статуэтка, тоже завернутая в носовой платок, – две голые тетеньки, которые что-то непонятное друг с другом делали. Потом она куда-то исчезла. И через много-много лет, уже после бабушкиной смерти, я совершенно случайно спросил маму, что вот, мол, у бабушки была в шкафу замечательная, по виду судя, японская такая, то ли нэцке, то ли еще что. Мама вспыхнула и сказала: «Я ее выбросила!» – «Почему?» – спросил я. «Там была отвратительная лесбийская сцена, – сказала мама. – А ты разве не понял?» – «А что я

мог понять в пять лет? – возразил я. – Просто какие-то тети кувыркаются». – «Фу! – сказала мама. – Я, когда обнаружила это в шкафу, это зимой было, отнесла на Чистые пруды и бросила в сугроб». «Ну вот, – подумал я, – кому-то, наверное, здорово повезло. Такая штука в комиссионке не меньше ста рублей стоит», – по тем ценам, разумеется.

Зачем мама это сделала, я не знаю. А кроме того, я вообще не уверен, правду ли она мне сказала. Может быть, и даже скорее всего, она показала эту статуэтку папе и, наверное, они ее кому-то передали, какому-нибудь знакомому артисту. Теперь мне так кажется. А тогда я был, честно говоря, возмущен. Даже не тем, что мама взяла чужую вещь, а именно тем, что она ее выбросила, выкинула, по сути уничтожила. Но у мамы были с бабушкой неважные отношения. Мама мне жаловалась, что бабушка ее все время немножечко подкалывала. Например, глядя на маму еще в первые годы их с папой романа, она говорила: «Витя любит ярких женщин». Она сама была яркая женщина, черноволосая и черноглазая, и ей казалось, что папина избранница тоже должна быть такой. А мама была очень русская: белокожая, сероглазая, светло-русая. И еще (мама мне почему-то все время об этом напоминала) бабушка любила такие замечания – например, мама наденет новое платье, а бабушка скажет: «Очень хорошо. Очень идет». И убийственная фраза в конце: «Это платье делает тебе фигуру». Вот так.

Наверное, там было что-то еще, о чем я не знаю и не узнаю никогда. Но было точно. Потому что когда бабушка умирала от тяжелейшего инфаркта у себя в комнате (нет, ее, конечно, потом отвезли в больницу, но я помню, как она лежала в кровати, даже не лежала, а как-то полусидела, прислонившись спиной к стене, и вокруг бегали два врача, делали ей уколы и подносили к губам клапан кислородной подушки, за которой я бегал в аптеку через Садовое кольцо, – это было довольно далеко, и я бежал со всех ног), – так вот, бабушка стонала от боли, от настоящей инфарктной сердечной боли, а мама стояла рядом в слезах, а потом сказала мне: «Я ей всё простила». – «Что – всё?» – спросил я. Мама махнула рукой и отвернулась.

Мы с бабушкой ходили гулять на Чистые пруды и еще – в Милютинский сад. Это было в другую сторону. Если идти от нашего дома к центру, то налево, за Хохловским переулком был такой садик, который тогда казался мне большим. На самом деле совсем крохотный. Но там было несколько аллеек, песочница, качели, клумба и какие-то деревья со скамейками. Бульварное кольцо в том месте, где оно пересекало Покровку (в те годы улицу Чернышевского), разделялось надвое. Так сказать, на туда и на обратно. Каждый бульвар завершался кварталом домов. В конце Чистопрудного, например, была старинная двухэтажная гостиница, на которой висела доска, что ее построил известный архитектор Стасов, и большой дом с рыбным магазином. На другой стороне улицы тоже были какие-то домики перед входом на Покровский бульвар. Сейчас там разные кафешки. Когда мы с бабушкой шли гулять, я всегда просил зайти в рыбный магазин посмотреть на рыб. Посреди магазина был большой кафельный бассейн с толстыми стеклянными стенками; там плавали карпы. По городу ездили цистерны с надписью «Живая рыба». Такая цистерна останавливалась около магазина, шофер вылезал из кабины, залезал на боковую приступочку, открывал цистерну и огромным сачком доставал оттуда карпов, ссыпал их в какие-то корыта, а из этих корыт они уже шли либо на прилавок, либо вот в такой бассейн, поплавать напоследок. Мне было страшно смотреть на этих карпов. Они были какие-то некрасивые и скользкие, глупые и жалкие одновременно. Я знал, что с ними будет. Моя бабушка сама довольно часто готовила карпа, и мама тоже. Но мне было интересно на них посмотреть, заглянуть в их желтые бессмысленные глаза и даже пожалеть. Тем более что я терпеть не мог карпов, в них было столько мелких костей, что я много раз поперхивался; мне давали съесть сухую корочку, чтобы протолкнуть кость, а пару раз мама маникюрными щипчиками вытаскивала мне эту кость откуда-то возле гланд.



Гланды у меня лет в шесть вырезали. Это было не больно, но противно – особенно когда привязывали к креслу. Прельщали мороженым: «Потом мороженое будешь три дня есть, сколько хочешь». Но мороженого не хотелось совсем: горло сильно болело.

Мне пять лет. Бабушка Рита режет хлеб. Большой батон. Хлеб серый, пористый, душистый. Она мажет хлеб маслом, дает мне. Рядом появляется папа. «Что ты так тонко мажешь? Что ты скупился? Что ты экономишь? – восклицает он. – Ты думаешь, Сталинград пал? Ошибаешься! Сталинград выстоял! Мажь ребенку толсто!»

Это у нас стало домашней поговоркой. «Сталинград пал» – когда слишком тонкие ломтики сыра, когда мама кладет в тарелку понемножку мяса. «Опять Сталинград пал? Нет, Сталинград выстоял!» – смеялся папа и отрезал толстый ломоть. Удивительно, что ко мне тогдашнему Сталинградская битва была втрое ближе, чем ко мне теперешнему – гайдаровские реформы.

Когда же, наконец, появлюсь я?

Я все время рассказываю о родственниках, о соседях, о зеркальных карпах, о своей бабушке, о сортире, который я не запомнил, – и никак не пойму, где же здесь я.

Это для меня всегда было большой загадкой.

Я всегда распадался в своем собственном представлении – на усы и кепку, на латинский язык и двойку по математике, на каких-то приятелей, на знакомых девушек, на куртку и ботинки, на руки-ноги и живот и так далее и тому подобное. Но за всеми этими замечательными подробностями куда-то исчезал я сам. Исчезал настолько плотно и надежно, что порой я даже сомневался, а был ли я. Нет! То, что я есть, – я в этом уверен. Я отражаюсь в зеркале. Я ем и пью, и совершаю прочие сопутствующие этому отправления. Когда я случайно порежусь ножом, мне больно и из меня течет кровь; когда меня злят, я гневаюсь; когда мне говорят комплименты, я расплываюсь в глупой довольной улыбке. То есть по всем признакам я существую, даже когда не мыслю. (Вот такой язык мы покажем Декарту.) Но тут же возникает вопрос: а вдруг это случайное совпадение параметров и характеристик, стимулов и реакций, а также книг и обуви-одежды? Как сказал Гейзенбергу великий физик Поль Дирак, когда мимо проходила красивая девушка: «Погляди-ка, Вернер, какое прелестное случайное сочетание атомов!» Может быть, все, что со мной делается, тоже «случайное сочетание» неизвестно чего? Вернее, известно чего – всякой чепухи и каждодневности. Может быть, у всех так. Но я не обо всех. Пускай все сами разбираются. Я о себе. Есть ли у меня некое реальное «я», которое делает меня столь же реальным, как реален мой двойник Денис Кораблёв? Вот ведь как странно получается: Денис Кораблёв – это всего лишь сколько-то (можно даже посчитать) фраз, слов, букв, запятых и пробелов. Как говорят математики, конечное множество типографских знаков на белой бумаге. Но при этом он абсолютно реален. А вот насколько реален я сам? А главное, из чего я состою? Не в каждый отдельно взятый момент, а на протяжении жизни. Где во мне что-то такое, что остается на годы?

Пытаемся разобраться.

## 5. Родственники

Я не очень хорошо помню, с кем из своих ровесников я общался, играл, знакомился до шести лет. Мое счастье и моя беда были в том, что я не был «детсадовским» ребенком. Не знал я никакого детского коллектива практически до школы, если не считать прогулочную группу Марьи Моисеевны, но об этом позже. Это было уже на другой квартире. А так – у меня были папа и мама. Папа, который всегда был либо в театре, либо в гостях. Мама, которая всегда была на гастролях. И няня с бабушкой, которые крепко держали меня за обе руки. Ах да, вспомнил. В нашем доме, кажется, на четвертом этаже жили девочка Берточка и мальчик, как зовут, забыл. Может быть, Митя? Не уверен. Иногда мы вместе лепили куличики из снега или из песка на Чистых прудах и в Милютинском садике.

Еще в нашем доме жила бабушкина совсем дальняя родственница, которую звали тетя Ренита. Мы с ней (то есть вся наша семья) продружили очень долго. Последний раз я с ней разговаривал по телефону, кажется, в 2006 году. Она была тогда очень стара, старше моей мамы. Она сказала мне, что ее сын Миша, которого я прекрасно помню вот именно по дому на Покровке, веселый парень, студент Института восточных языков, уже умер. С мужем она рассталась совсем давно. Мужа ее в компании не любили, потому что он выпивал и бил Рениту, и вдобавок был еще и однорукий. Бедная Ренита была из тех людей, у кого всё не слава богу.

Есть такие художники, у которых галерист перед вернисажем уходит в запой. Есть такие поэты, у которых издательство закрывается в последний момент. Есть такие ученые, у которых трое членов диссертационного совета заболевают прямо в день защиты, и она откладывается на неопределенный срок. А потом научный руководитель эмигрирует в Израиль. А новый научный руководитель требует переделать всю диссертацию. А у соискателя молодая жена родила двойню. И вот будущий блестящий физик (философ, филолог – ненужное зачеркнуть) превращается в замotanного жизнью неудачника. Эти люди чаще всего бывают очень хорошими. Добрыми, честными, чистыми, всегда готовыми помочь. Но чем они могут помочь, тоже непонятно. Беда, одним словом.

Ренита, к сожалению, была такая – вся жизнь наперекосяк, никак, никуда. Она была, насколько я помню, очень образованная и умная (с ней было интересно говорить о книгах) и необычайно красивая. Похожа на испанку: смуглая, черная, большеглазая, с огромной шевелюрой пышных кудрей, с длинными выразительными пальцами – как на картине. Я помню, как один поэт у нас в гостях спросил ее: «Ренита, а вы не скучаете по Испании?» Потому что, наверное, решил, что она из тех самых «ихос де ля герра», детей войны, маленьких испанцев, которых в 1930-е годы во время испанских событий привезли в СССР. Но Ренита была просто еврейкой, а имя ее обозначало «Революция, наука и труд».

Еще у бабушки была подруга-соседка Софья Наумовна. Высокая, седая, большеглазая и похожая, как мне в те годы казалось, на Рениту, когда та сильно постареет. Почему-то меня в детстве и юности страшно занимал этот вопрос – как будет выглядеть человек через двадцать, тридцать, сорок лет. Я даже – тогда я учился в десятом классе – задумал такой, говоря по-нынешнему, проект: взять сотню молодых красавиц и красавцев разного роста, масти и телосложения – и фотографировать их до глубокой старости примерно раз в пять лет. А потом издать альбом – «В помощь женихам и невестам»: во что превратятся ваши избранники к серебряной, а там и к золотой свадьбе. Мама меня отговорила: только зря людей огорчать!

Но я отвлекся.

У бабушки были два брата – Исаак Львович и Марк Львович. Исаак сделал поразительную карьеру. Он был юрист, прокурор Ивановского промышленного района, а потом прокурор Азово-Черноморского края – была такая административная единица. Так что ордер на его

арест подписывал лично Вышинский. Исаак получил десять лет без права переписки, то есть понятно. У него была жена Белла, а у нее две дочери, Энна (полное имя Ноэми) и Майя. Вот с ними мы общались постоянно. Белла отсидела в «А.Л.Ж.И.Ре», Энна, кажется, была с ней – у нее на руках были тюремные татуировки. Письмо Беллы своим родным, написанное на тряпочке и выкинутое в окно поезда, сейчас выставлено в витрине Музея ГУЛАГа. Эту тряпочку подобрала на железнодорожной насыпи какая-то женщина и отнесла не в НКВД, а по адресу. Уверен, что ныне она пребывает в раю, и я часто прошу ее молить за нас Царицу Небесную.

Второго бабушкиного брата звали Марк. То ли он предчувствовал судьбу своего брата, то ли брата уже к этому времени арестовали – но Марк поступил чрезвычайно мудро. Он служил бухгалтером в каком-то мелком учреждении. В один прекрасный вечер он взял из кассы много денег и пошел по ресторанам. Это было в четверг. Прогулял пятницу и субботу, в воскресенье тоже пьянствовал. В понедельник явился к начальству весь растерзанный. С похмелья. В синяках и губной помаде. Сказал, что его бес попутал: растратил и пропил казенные деньги. Был судим и получил два года тюрьмы. Но сразу превратился в «классово близкого». Ну, просто ворюга, растратчик, пропойца. И поэтому эти два года он провел на строительстве канала имени Москвы, работая учетчиком, потом бухгалтером, особо не напрягаясь. Но самое главное (Марк повторял это с большим удовольствием) – классово близким. В отличие от классово чуждых крупных коммунистов, которые превращались в троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев и так далее.

У Марка была жена Муся и сын Эрнест, хороший парень, старше меня на четырнадцать лет. Когда Эрнест – уже в начале 1960-х – пытался писать детские рассказы (как его двоюродный брат Витя, то есть мой папа), он узнал на своем опыте, как несправедливо устроена литература. Он принес в редакцию рассказ, и там, увидев фамилию (фамилия-то была одна и та же), редактор, не читая, сказал: «Драгунского рассказ? Ставим в номер!» – а потом вчитался: «А почему не В.Драгунский, а Э.Драгунский?» Эрнест объяснил, в чем дело. «Не годится» – сказал редактор, опять же не читая. «Почему?» – «Потому что у нас редакционный портфель набит на десять лет вперед!» Ужасно.

## 6. Казанская дорога

Летом мы снимали дачу. «Рэбьонку нужен воздух», – говорила моя мама с нарочито еврейским, то есть антисемитским акцентом. Замечу в скобках, возможно, в ссорах мамы и бабушки присутствовал и этот компонент тоже. Тот факт, что моя русская мама вышла замуж за моего папу – чистокровного еврея, не избавлял их обеих (маму и бабушку) от некоторой этнической неприязни.

Итак, рэбьонку нужен воздух. И поэтому на два, а то и на три месяца снималась дача.

Станции Ильинская, 42-й километр – по Казанской дороге. Снять дачу тогда было проще простого. Я помню, как это было. Мы сходили с электрички и углублялись в улочки какого-то пристанционного дачного поселка. Бабушка энергично шла, просто, можно сказать, бежала вперед, заворачивала в один закоулок, в другой, в третий – и буквально через десять минут радостно неслась навстречу нам. «Сняла!» – кричала она. Обычно это были две комнаты с террасой, с отдельным крылечком и с маленьким кусочком территории, который предназначался для дачников: столик со скамеечкой и качели или гамак – иногда на вкопанных в землю столбах, а иногда между деревьями. «Куда ты идешь? – кричала мне бабушка. – Это уже не наша территория!» И наоборот: «Леночка! Слезь с гамака, это гамак дачников!» – доносилось из угла участка. «А меня мальчик позвал!» – кричала Леночка. Мальчик – это был я. «Все равно! Иди-ка сюда», – кричала хозяйка своей дочери.

Я запомнил, как звали хозяев одной из дач. Ее звали Ива Львовна, вот так вот именно – Ива. А его – Гавриил Спиридонович. Позже я понял, что он был грек. «Гаврила! – говорила про него бабушка. – Какой грубиян!» Что было грубого в Гавриле, я не знаю. Может быть, гулкий голос и странная манера. Встречая его во дворе, я говорил ему: «Здравствуйте, Гавриил Спиридонович!» А он отвечал мне громко и коротко, будто бабахая: «Здравствуйте, молодой человек!» Бабушку это почему-то бесило.

У них была домработница, маленькая, тоненькая, заморенная, почти девочка. Бабушка рассказала мне, что однажды нашла ее в сортире, в деревянном сортире, который стоял в углу участка. Нашла спящей. Дырки в таких сортирах обычно прикрывались фанеркой, к которой была приделана торчащая палка, чтобы легко можно было эту фанерку с дырки снять. Так вот, со смехом и жалостью бабушка говорила, что она вошла в сортир и увидела, что бедная девочка спит там, свернувшись калачиком вокруг вот этой вот палки. Кажется, бабушка даже дала ей вечером чего-то вкусенького, но какой толк. Для бабушки, впрочем, толк был педагогический. Для воспитания меня.

Вмоей жизни с раннего детства присутствовал некий Другой. Некто, не похожий на меня, но с которым меня всегда сравнивали. Говорят, у каких-то детей это был так называемый «сын маминой подруги», который учится на все пятерки, сам себе гладит брюки и вообще очень хороший мальчик, в отличие от тебя, лоботряса и дурака!

Ах, да. Чуть попозже мне ставили в пример Груню Васильеву, дочку папы-маминых друзей. Груня учит немецкий! Груня уже говорит по-немецки! Теперь Груня – это Дарья Донцова. Она моложе меня на полтора года – поэтому ей, когда я чуть подрос, передали мою коляску, чудесная импортная коляска у меня была (тоже, наверное, от кого-то унаследованная) – и вот, значит, в ней каталась будущая сочинительница иронических детективов. Впрочем, об этом я узнал гораздо позже, из воспоминаний Груни...

Но у меня таким Другим бабушкиными стараниями был «Бедный Мальчик». Бабушка объясняла мне, что я, хотя и живу в коммуналке в темной комнате на пятерых, но на самом деле живу просто прекрасно, потому что я сыт, одет-обут и обласкан родителями и бабушкой. Что у меня сухая теплая постель и книжки с картинками. Но где-то живут бедные мальчики

(о девочках не говорилось), оборванные, в худых башмаках, без родителей, и вдобавок просто голодные. Бабушка рассказывала мне, как она ходила в булочную, купила хлеба и пряников и на крыльце увидела Бедного Мальчика, который просил у нее что-нибудь поесть. И она дала ему пряник, и мальчик даже поцеловал ей руку. Я чуть не плакал, слушая этот рассказ. Но при этом, как ни странно, у меня не возникало желания самому пойти с кульком пряников к булочной и покормить бедных мальчиков. Я просто сидел под абажуром, допивал свой чай, горько вздыхал и подпирал подбородок кулаком, немножечко косясь на бабушку, потому что мне было очень важно поймать от нее сигнал одобрения. Любимые мои книжки тоже были про бедных несчастных детей. «Маленький оборвыш» Гринвуда, «Без семьи» Гектора Мало, «Рыжик» Свирского.

Не знаю, бедный я был мальчик или богатый – наверное, ни то ни се. Это делало мое существование, а также обретение своего «я» особенно трудным. Но мальчиком я был довольно противным. Я громко плакал, когда был недоволен родителями. Смешно сказать, но я не помню поводов, из-за которых ревел. Зато сам рёв помню отчетливо. А особенно хорошо помню, что я ревел со всей горечью, закрыв лицо руками, но при этом чуть-чуть раздвинув пальцы и глядя в щелочку, какое впечатление мой рёв производит на маму с папой. Однажды я ревел слишком громко и долго, и мама сказала: «Трилли! Ты просто Трилли!» Обидная дразнилка! Я даже орать перестал. Мама объяснила, что Трилли – это очень плохой и капризный мальчик из рассказа Куприна «Белый пудель». Пришлось читать.

А еще на даче был старик, которого звали Ганс Денисович – с воздушно-белыми волосами вокруг желтой лысины. Его отчество меня немножко утешало, потому что в детстве меня не то чтобы дразнили, но всякий раз удивлялись моему редкому и необычному имени. Но вот, оказывается, такое имя все-таки есть. Нет, я, конечно, знал, что оно есть. Я знал, что был знаменитый гусар Денис Давыдов. Лет в пять я впервые услышал фразу «Умри, Денис, лучше не напишешь». Непонятно, но обидно – почему это я должен умирать? А так-то меня и на даче, и в школе звали то Максимом, то Кузьмой, то даже Герасимом. Папа со смехом рассказывал, что ему передавали: «как странно Драгунский назвал своего сына – то ли Денис, то ли Пантелей». То есть мое имя было, так сказать, гипертрофированно простонародным. Но я, конечно, тогда таких слов и понятий не знал, просто немножко переживал из-за того, что имя у меня больно необычное. Это уже потом Денисы пошли косяком, – кстати говоря, благодаря Денису Кораблёву, – но уже сильно потом.

Старый садовник Ганс Денисович стал персонажем отцовского сценария, так и не снятого и даже не опубликованного; сейчас он лежит в ЦГАЛИ. Сценарий этот я читал. Интересный, хороший, динамичный. Один у него есть странный – даже не недостаток, а прямо не знаю, как сказать, исторический ляпсус, что ли. Сценарий называется «Без права переписки». О том, как из сталинского лагеря (или из ссылки?) возвращается заключенный к своей семье. А вместе с ним, вернее, следом за ним приезжает недавно освободившаяся зэчка, которая делила с ним ужасы тамошнего бытия и теперь считает, что у них все должно продолжиться в счастливой вольной жизни. А он-то любит свою жену и стремится к ней. Но главный ужас в другом (редакторский ужас, я имею в виду)! По сценарию жена не знала ничего о судьбе своего мужа, потому что его осудили на «десять лет без права переписки». То есть мой бедный папа тогда искренне верил, что десять лет без права переписки это и есть десять лет тюремного заключения. Или лагерной каторги, или ссылки – но без права переписки, вот и всё. Он, когда писал свой сценарий (это было до XX съезда, но после смерти Сталина, разумеется), не знал, что это означало немедленный расстрел.

Кстати говоря, папиного дядю, то есть бабушкиного брата Исаака Львовича, приговорили именно к десяти годам без права переписки. И ему носили передачи: сначала жена, пока ее тоже не арестовали, потом дочь; и эти передачи принимали, а на все вопросы кратко отвечали:

«Десять лет без права переписки». Потом сообщили, что он умер от болезни в таком-то лагере в таком-то году. Так что мой папа, как, впрочем, и весь советский народ, не знал, даже представить себе не мог, как всё было на самом деле.

Меня потом заинтересовал другой вопрос. Времена были голодные. Передачу собрать было трудно. Времена были, повторяю, голодные, поэтому эти передачи (сухари, сало, сахар, баночку варенья), конечно же, тюремщики не выбрасывали. Они все это съедали. А может быть, относили домой, своим не слишком сытым родным.

Мне вдруг показалось, что вот эта еда, переданная уже давно убитым людям и сожранная кем-то другим (скорее всего, палачами, а также их невинными детишками и бедными женами), есть некий смертельный яд, проникший в тело нашего народа. Можно ли этот яд, как говорится, «изблевать из уст» нации? Или он так и будет отравлять нашу жизнь на поколения вперед?

Ладно, ладно, ладно...

Было несколько дач, которые мы снимали. Они сливаются, смешиваются у меня в памяти. На одной из них тоже была домработница, но совсем другая. Не та бедная, заморенная, спавшая в деревянном сортире (который моя бабушка называла словом «какштибеле»; какой-то жаргонный идиш) – совершенно другая: красивая, румяная, с косицей девица, которая мне нравилась, причем нравилась эротически. Обычно меня укладывали после обеда полежать, «чтобы жирок завязался», как говорила бабушка, рисуя круг пальцем вокруг моего пупка. Я лежал на раскладушке под деревом и смотрел, как эта девушка бежит взад-вперед, и особенно мне нравилось, когда она вдруг как-то странно садилась на крыльце и почему-то клала на низкое перильце свои босые ноги. Наверное, чтоб ноги от беготни отдохнули, она на пять минут закидывала их вверх. Но мне издали казалось, что это вовсе не ноги, а пиписька. «Пепочка», как говорила моя мама. Я еще пребывал в том возрасте, когда был убежден, что у мальчиков и у девочек пиписька устроена одинаково. Вот, кстати, беда детей, которые не ходят в детские сады. Да, мне казалось, что она достает и показывает – не мне одному, конечно, а так, всему свету – показывает свою толстую розово-красную, как я тогда подумал, большую пипиську. По-настоящему разбираться с мальчиками и девочками я стал уже после переезда на другую квартиру и на другой даче, в писательском поселке.

А здесь, на этих старых дачах, мне вспоминается папа, которого мы с мамой встречали на станции. Один раз папа даже запустил усы. Они у него были рыжеватые. И мне очень нравился папа с усами. А потом он вдруг приехал без усов. Я спросил – где усы. А он объяснил мне...

Папа мне всегда все подробно объяснял. Не всегда правду, но совершенно серьезно. Помню, например, как я спросил его, услышав, очевидно, в разговоре про театр: «Папа, а что такое «Травиата»?» – на что папа мне совершенно серьезно ответил: «Это дама горизонтальной профессии». Мне было лет семь, а может, и того меньше. Но я был полностью удовлетворен этим ответом и почему-то решил, что это как-то связано с цирком. С воздушными полетами, с гимнастами, с чем-то акробатическим.

Тем более что в цирк с папой мы ходили довольно часто и даже бывали за кулисами. Я видел цирковых артистов вблизи. Я видел пот, льющийся поверх загримированных тел, тяжелое дыхание, мосластые руки. Я видел, какой это жуткий труд и как это не похоже на тот блеск, который мы видим из зрительного зала...

И тем более ничего похожего на «Девочку на шаре».

Так вот, я спросил папу – «Где твои усы?» Он объяснил: «Они курчавятся, загибаются и колются. И поэтому ну их. А вот ты, сынище, когда вырастешь, обязательно будь с усами. Тебе пойдет». Я так и сделал.

Мы с мамой ходили в дачный магазин. Однажды купили там то ли десяток, а может быть, и пяток яиц, и к нам пристал какой-то нищий, который сначала попросил, чтобы мы ему отдали одно яйцо, а потом предложил купить его у нас, протягивая маме (а я стоял рядом с ней) зажатую между большим и указательным пальцами целую стопку монет. Мама отказалась. Мы прошли буквально несколько шагов, и вдруг она закричала «Ой», заглянула в сумку и увидела, что одно из яиц странным образом треснуло и желток вытек внутрь сумки. «Бог наказал», – сказала мама.

А на одной нашей даче была прекрасная собака, овчарка по имени Черныш. Совсем молодой пес, очень добрый, я его совершенно не боялся, хотя ростом он был почти что с меня. Однажды его украли. «Угнали», – как выразился хозяин, Гавриил Спиридонович. Однажды утром, когда мы вышли на террасу, этот басовитый мужик вдруг огорченно сказал: «Черныша угнали». И мы с мамой оба заплакали.



## 7. Бабушка Аня и дедушка Вася

До сих пор я рассказывал о бабушке – папиной маме и ее родственниках.

Но у моей мамы тоже были мама и папа. Дедушку звали Василий Харитонович, бабушку Анна Алексеевна. Дедушка был наполовину цыган. Его отец Харитон был оседлый цыган, кузнец из Тульской губернии. Ушел из табора и женился на русской. Жена его (я видел ее фотографию) была очень толстоногая старуха. Настолько толстоногая, что моя мама какое-то время была убеждена, что она незаконная внучка Льва Толстого – от его походов с крестьянскими девушками. Конечно, у мамы это был, прямо по Фрейду, типичный «семейный роман невротика», когда подросток фантазирует, что он или она незаконный потомок принца, или выдумывает себе потрясающую родословную в дальних поколениях.

Мама и мне говорила, что я похож на Льва Толстого в молодости, и даже сделала такой, как тогда говорили, фотомонтаж (поскольку никакого фотошопа еще не было). Есть известная фотография молодого Льва Толстого в военном мундире, и мама попросила знакомого фотографа впечатать туда мое лицо и поставила себе на туалетный столик, а когда папа умер – на его письменный стол. В свои шестнадцать лет я был весьма толстонос и усат и вправду немного смахивал на графа. Если прищуриться.

Дедушка Вася перебрался в Москву еще до революции и был шофером. Шофером и проработал до конца своей жизни. Он принадлежал, если можно так выразиться, к шоферской элите: работал в Интуристе, ездил на американском «линкольне». Какое-то время возил писателя Пильняка, был его персональным – от государства – водителем, а после расстрела Пильняка – известного американского корреспондента Лайонса, автора книги «Командировка в утопию». Там дедушка упоминается два раза как шофер. Лайонс был проклят как враг нашей страны, но с бабушкой Васей ничего недоброго не случилось. Потом он возил секретаря Президиума Верховного Совета товарища Горкина и, представьте себе, певца Козловского, которого он даже выучил водить автомобиль. Дедушка немного знал английский, возможно, был сотрудником «органов», но это я могу лишь предполагать. Во время войны он тоже был шофером где-то в дальнем тылу – кажется, в Сибири, на каких-то приисках. За всю жизнь у него не было ни одной аварии. Потом дедушка работал завгаром («заведующий гаражом» звучит очень пышно, но на самом деле это что-то вроде сменного мастера или бригадира, ничего руководящего) – в гараже Совета министров СССР. Этот гараж был – ни за что не догадаетесь где. В здании Манежа. Только в 1957 году там сделали выставочный зал. А до этого там парковались и обслуживались «паккарды», ЗИСы и ЗИМы нашего родного советского правительства, как писали в газетах. «Родное правительство! – смеялась моя бабушка Аня, дедушки Васина жена. – Если бы оно было родное, мы бы не в подвале жили. Не в коммунальной квартире». И приговаривала: «Вот Маркс и Энгельс придумали коммуны, а сами, небось, в коммуналке не жила, всё в особняках».

Расположение гаража в Манеже еще сыграет свою роль в жизни бабушки Васи, но пока поговорим о бабушке Ане.

Бабушка Аня родилась в городе Славянске. У нее была сестра Анастасия, тетя Стася, как мы звали ее дома. Еще до Первой мировой войны тетя Стася убежала в Москву из небогатой, но благополучной торговой и мукомольной семьи (хотя их папа проиграл свою долю наследства в карты, все-таки собственный дом у него был и деньги водились). В Москве она устроилась танцовщицей в кабаре. И в этом кабаре с ней познакомился и в конце концов на ней женился немолодой, вполне преуспевающий адвокат, которого звали Феликс Саввич Набоков, ни капельки не родственник знаменитому набоковскому клану. Но человек он был весьма обеспеченный, у него была огромная, чуть ли не в пол-этажа, квартира в большом доме на углу Колымажного и Староваганьковского – на задах Музея изобразительных искусств. Стася

выписала из Славянска свою сестру Аню и поселила у себя. Бабушка Аня устроилась «конторской барышней», то есть секретаршей, в страховое общество «Россия», которое находилось на Лубянке как раз на месте нынешнего КГБ – ФСБ, и каждое утро шла на работу переулками: сначала по Староваганьковскому, потом по Шереметьевскому (который стал улицей Грановского, а потом переименовался в Романов переулок), дальше – по Моховой.

В Шереметьевском переулке стоял огромный розово-бежевый дом из трех корпусов с садом за чугунной оградой. Посреди сада журчал фонтан. В саду няни выгуливали барских детей. Няни были одеты в русские народные костюмы, иногда даже с кокошниками. Это было специально сделано, чтобы никто не перепутал барыню со служанкой. Юная бабушка шла мимо этого дома и вздыхала: «Эх, пожить бы в таких хоромах».

Бойтесь ваших желаний – они иногда исполняются. Вася, с которым она сдружилась и повенчалась еще до революции, в самом начале 1920-х стал шофером при больших властях, а гараж-то, как мы помним, был в Манеже. Вот и получил он жилье прямо рядом с гаражом – то есть в этих самых хоромах в Шереметьевском переулке, в этом знаменитом доме. Но – одну комнату в подвальной коммуналке. А в квартиры, которые раньше занимали московские богачи и высшие чиновники, въехали новые хозяева – наркомы и маршалы.

Именно в этом доме, в этой подвальной квартире 67 и жили дедушка Вася и бабушка Аня и их дети Евгений, Муза, Алла и Валерий. Алла – это моя мама. В записной книжке Ильи Ильфа есть такая строчка: «Поэтические имена – Алла, Муза». Как будто подслушано. Моя бабушка любила изящное. Старшего сына она хотела назвать Конрад, а младшего Эрик, но дедушка встал стеной. Пришлось соглашаться на Евгения и Валерия – тоже изящно, но как-то более привычно. Впрочем, у Валерия домашнее имя так и оставалось Эрик. Как они жили вшестером в этой небольшой, не больше двадцати метров комнате, я не знаю. Однако же жили.

Прошли годы. Евгений и Муза обзавелись собственными семьями и разъехались по другим адресам, Валерий тоже подросток, а дедушка с бабушкой «улучшили жилищные условия» – то есть получили, но не квартиру, нет! Получили комнату в двухкомнатной квартире на Третьей Песчаной улице. Эта квартира строилась как отдельная, но туда все равно втиснули две семьи. Мне в этом видится особая советская подлость. Если вы так хотели, чтоб люди жили коммуной (это я задним числом обращаюсь к советской власти), так и строили бы настоящие коммунальные квартиры: большой коридор, одинаковые комнаты по обе стороны, может быть, даже с умывальником каждая, просторная кухня, два туалета, душевой и постирочный блок, общая кладовка. Коммуна так коммуна! Так нет же. Строили нормальную двухкомнатную квартирку с маленькой кухонькой, а засовывали туда две или три семьи.

Дедушка Вася, наверное, используя свои какие-то гаражно-правительственные связи, смог оставить комнату в Романовом переулке на улице Грановского своей дочери Алле.

Летом 1957 года, когда мне было уже шесть лет, мы переехали с Покровки на Грановского. То есть опять же улучшили свои жилищные условия. Раньше мы жили впятером в одной комнате, а теперь стали жить втроем – папа, мама и я. Мы расстались с моей няней Асей. Она потом несколько раз приходила к нам в гости, «посмотреть на питомца», как она говорила.

## 8. Улица Грановского

Итак, в 1957 году, в начале лета мы переехали в квартиру 67 по адресу: улица Грановского, дом 3. Полуподвальная коммуналка. В комнате всегда было жарко – под окном вместо батарей проходили две очень толстые оштукатуренные и покрашенные отопительные трубы. Поэтому у нас всегда была приоткрыта форточка. В эту форточку доносилось курлыканье голубей, звонкое блямканье, шлепанье или постукивание каких-то вещей, которые жильцы, случалось, роняли из окон верхних этажей – когда монетку, когда пустой спичечный коробок. Иногда слышались шаги редких прохожих. Редких – потому что окно нашей комнаты выходило во двор. Я придвигал табуретку и, положив подбородок на крашеную доску подоконника, смотрел на голубей, поднимая глаза, потому что линия земли была чуть-чуть выше линии подоконника.

Вот поэтому, дорогие читатели и читательницы, Дениска Кораблёв никак не мог выбрать манную кашу из окна. Ах, этот бесконечный вопрос: «Денис Викторович, а вы правда кашу из окна выливали?» – вопрос, который задавали мне и дети друзей, и незнакомые ребята, и школьники во время встреч, посвященных «Денискиным рассказам». И даже, представьте себе, участники весьма серьезной научной конференции. Вот я заканчиваю доклад и спрашиваю: «Вопросы есть?» Трехсекундная пауза – и поднимается рука: «Денис Викторович, простите, вопрос не по теме, но все-таки. Вы правда кашу из окна выливали?»

Нет, ребята, неправда. В этом чуть ли не самом знаменитом Денискином рассказе отразилась папина мечта об отдельной квартире. Недаром там сказано (милиционер говорит): «Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами, и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!» Мечты жителя комнаты в подвальной коммуналке. Мечты, мечты! Мой бедный папа к тому времени не умел жить в отдельной квартире и не представлял себе, как эта жизнь устроена. И поэтому в знаменитом рассказе под названием «Тайное становится явным» мама приносит Дениске кашу в комнату, а потом уходит на кухню. И тут-то Дениска начинает эксперименты с солью, перцем, хреном и кипятком, а потом в отчаянии выбрасывает кашу на улицу. Но это же была квартира скромного советского инженера – а именно инженером и был папа Кораблёв, согласно рассказам («папа на заводе», «к папе пришли какие-то люди с чертежами» и т. п.)! Разве у простого советского инженера могла быть квартира, в которой есть столовая, как говорится, «с подачей»? То есть столовая, куда еду носят из кухни. Конечно же нет! Ведь в советских квартирах, если это не был какой-нибудь особенный праздник, завтракали, обедали и ужинали всей семьей на кухне. И уж сына кашей кормили, конечно, там же. Еще папа, наверное, плохо представлял себе, что такое мусоропровод. Слово знал, а в квартире с мусоропроводом не жил. Поэтому и написал про выливание каши в мусоропровод, что на самом деле штука совершенно невозможная, как говорится, по техническим причинам. Вот по этим же самым техническим причинам я не выливал кашу в окно.

Окно было открыто, и из него часто пахло бензином и доносился тихий и серьезный, нежно рокочущий звук моторов. Потому что это были не грузовики и не какие-нибудь тарактелки типа «москвичей» или трофейных бээмвэшеч, а огромные советские лимузины малого тиража и ручной сборки, ЗИМы и ЗИСы, на которых ездили наши соседи с верхних этажей: маршалы Голиков и Конев, тетя Катя Фурцева (это я только про наш подъезд рассказываю), ну и прочие руководящие или прославленные войной товарищи вроде Молотова, Косыгина и Рокоссовского. Улица Грановского была узкой, поэтому машины часто подавались к черному ходу. И вот маршал Голиков, маленький, в сапогах на высоких каблуках, спускался черным ходом.

Мне нравился запах бензина. В рассказе «Что я люблю» написано: «Я очень люблю стоять позади автомобиля, когда он фырчит, и нюхать бензин». Мои друзья, уже во взрослом возрасте, смеялись: а ты, оказывается, с детства нюхач. Ну хорошо, нюхач, ладно. Запах был очень нежный и чуточку пьянящий, а машины были черные, отмытые до зеркального блеска. В них отражалось небо, дом со всеми карнизами и завитушками и я, стоящий рядом с шофером и допрашивающий его, сколько лошадиных сил и какая скорость. Шоферы этих министерско-маршальских лимузинов никогда меня не пугали. Очевидно, они не могли понять, кто я. Моя, так сказать, социальная определенность была для них не вполне ясна. Мытая голова и чистые ногти не позволяли отнести меня к категории «дворников». В нашей стране всеобщего равенства и диктатуры пролетариата во дворе дома 3 по улице Грановского все дети делились четко, ну или почти четко, на две категории: «дворники» и «принцы». Дворники – это дети из подвальных коммуналок. Их – то есть нас – там было довольно много. Наверное, не меньше шести, а то и восемь ребят. С точки зрения хладнокровной социологии это было правильно, потому что в подвалах, как при царе, так и при советской власти, жила, за мельчайшими исключениями, челядь, прислуга – то есть те самые дворники. Ну а про принцев всё понятно. Надобно только сделать одно уточнение: делили детей на принцев и дворников отнюдь не принцы, а именно что дворники. Принцы-то как раз были очень демократичны. Они звали нас (дворников) к себе в гости и приходили в гости к нам. У меня есть несколько фотографий, где в нашей подвальной комнате рядом с Мишкой и Алёнкой – о них речь впереди – стоят внуки легендарных наркомов, которые спускались сюда, в нашу норку из поднебесья. Поэтому принцев мне упрекнуть не в чем. Они были демократичны, насколько сил хватало. Тем более что их воспитывали очень строгие в этом смысле мама и папа, бабушка и дедушка.

Помню, как за меня заступилась мама Сашки Голикова, маршальского внука. История была смешная. Моя мама в те годы работала в ансамбле «Березка», но не танцовщицей, а ведущей программ. Выходила вся такая русская красавица в сверкающем длинном платье, кокошнике и с накладными желтыми косами и говорила что-то вроде «начинаем наш концерт» – на всех языках, кстати говоря. Приезжая в какую-то страну, мама с помощью посольских выучивала приветствие и названия номеров. Помню, как она говорила по-гречески: «Архизуме ти синавлиа кратику хореографику сингротиматос Бериозка». Я выучил всю эту фразу еще в шесть лет, наверное. Смешно, что греческий язык потом стал моей специальностью. Вряд ли из-за этого, хотя – кто знает.

Так вот, мама ездила в Египет и привезла мне оттуда настоящую маленькую дубленку. Представьте себе, как бы все мне завидовали, как бы все ахали и облизывались, если бы я, шестилетний мальчик, вышел во двор гулять в настоящей дубленке году эдак в 1977-м. Я бы сразу превратился в принца. И мама какой-нибудь принцессы из соседней песочницы тут же побежала бы знакомить со мной свою дочку. Но дело было не в 1977 году, а в 1957-м. Поэтому во дворе меня обступили ребята и стали кричать: «Ой ты, тулуп! Деревенский тулуп, колхозник, колхозник, колхозник!» Услышав этот крик, проходившая по двору мама Сашки Голикова подбежала и закричала: «А ну-ка брысь, а ну-ка хватит, как вам не стыдно! Прекратите немедленно!» – потому что она увидела, как богатые городские ребята дразнят и травят, говоря нынешнему, буллят, бедного деревенского мальчонку. Тут она узнала меня и сказала: «Ах, это ты, Денис», – погладила меня по голове, вернее, по шерстяной лыжной шапочке, улыбнулась и сказала: «А ты и правда как будто мужичок с ноготок. Такой забавный тулупчик». – «Это не тулупчик, – мрачно сказал я. – Эту зимнюю шубу мама мне из Египта привезла». Но добрая тетя погладила меня еще раз по голове и ушла по своим делам. А я стал мечтать о нормальном драповом пальтишке с маленьким цигейковым воротничком, как у всех. Я даже однажды поделился этой мечтой с мамой, но мама сказала: «Не говори глупостей. Такого ни у кого нет, пусть они тебе завидуют».

Дворниками называли мы себя сами. Именно мы понимали, ощущали и старались соблюдать социальную дистанцию в настоящем смысле слова – не санитарную, как при ковиде, а именно общественную. Оно и понятно. Демократизм – это чувство, которое распространяется сверху вниз. Можно сказать «директор демократично разговаривал с уборщицей», «министр демократично пожал руку лифтеру», но наоборот не получается. Можно дерзко, можно с чувством собственного достоинства, можно, наоборот, лстиво или униженно, то только не демократично. Когда ты живешь в восьмикомнатной квартире на третьем этаже, тебе легко демократично спуститься в подвал и демократично бегать по коридору коммуналки вместе со своим товарищем. Наоборот – не получается. Поэтому мы шепотом называли принцев принцами, а своих братьев по классу дворниками. Иногда мне кажется, что принцы это прекрасно знали, но – воспитанные и вежливые ребята – просто не подавали вида.

Знали это и шоферы лимузинов. Поэтому они могли запросто шугануть дворника (я не раз это видел), но при этом вежливо улыбаться принцу. А я находился где-то посерединке. Дворника опознавали по немойтой патлатой голове и по «собачьему трауру» – так мои мама и бабушка называли черную каемку под ногтями. А я, повторяю, был хоть и в скромной курточке, но чистенький. Поэтому и шоферы подробно отвечали на мои дурацкие вопросы о ходовых качествах автомобиля. Своего рода «пари Паскаля»: мы точно не знаем, есть Бог или Бога нет, но на всякий случай выгоднее ходить в церковь и ставить свечки. Потому что если Бога нет, то ты проиграешь сто франков, а если Бог есть, то выиграешь райское блаженство.

«Барские», как мы их называли, квартиры имели два выхода – парадный и черный. Бывал я и в парадном, роскошном, с мраморными лестницами, покрытыми темно-малиновым ковром, который на каждой ступеньке пришиплен был латунным прутком с двумя зеркально начищенными шариками на концах. Дубовые перила, изящные, кажется тоже латунные балясины. Зеркальная дверь лифта, высоченные двустворчатые двери квартир. Конечно, лифтер или лифтерша. Топтуны стояли на улице, в подъезды не заходили. Разве что в сильный мороз. Лифтерша тетя Дуся из нашего подъезда рассказывала маме, как она сына своего от армии, говоря нынешними словами, отмазала. «Сижу и плачу. Как дверь хлопнет, начинаю плакать. И вот раз мимо меня Конев идет. Конева знаешь? Такой харятый (то есть широколицый). Чего, Дуся, говорит, плачешь? Да так, говорю, Иван Семеныч, ничего. А на второй и на третий день опять. Наконец он меня спрашивает: «Ну, Дусь, расскажи, что да как». Добрый был мужик, из простых. Я ему говорю: «Серёньку в армию забрали». (Не забрали, а «забрали». Тогда это слово употреблялось довольно часто.) Он прямо закашлялся. «Ну, – говорит, – совсем освободить твоего Серёньку мы, конечно, не сможем, но отсрочку дадим. А потом призовем в хорошее место. Писарем, под Москвой. Будет в увольнение домой ездить». Вот так».

А наша квартира выходила только на черный ход, потому что из подвала хода на парадную лестницу не было.

Однажды к нам на черный ход пришел точильщик. Домработницы из маршальско-министерских квартир притащили ножи. Я стоял и смотрел на искры, снопом бегущие из-под лезвия, которое звенело, касаясь вертящегося круглого камня.

Домработница тети Кати Фурцевой куда-то задевалась. Точильщик был хромой. Он попросил меня отнести ножи на четвертый этаж. Сказал цену – девять рублей. Я взбежал наверх, постучал. Открыла сама тетя Катя, в красивом домашнем платье. Она улыбнулась и дала мне десятку. Я побежал вниз и отдал деньги точильщику. Он дал мне рубль сдачи.

Я помчался назад, затарабанил в дверь и протянул тете Кате рубль: «Вот сдача!» Она сказала: «Ну что ты, мальчик! Возьми рублик себе!» – «Зачем?» – растерянно спросил я. «Ну... – задумалась тетя Катя. – Ну, положи в копилочку».

Именно так она сказала и закрыла дверь. У меня не было копилочки. Я пошел вниз, размахивая рублем, ибо тогда, до реформы 1961 года, он был размером в небольшую салфетку. Особенно по сравнению с пятилетним мальчиком, то есть со мной.

У дверей нашей квартиры я наткнулся на маму. Она спросила, откуда у меня рубль. Я рассказал. Она забрала у меня рубль, крепко схватила за руку и поволокла наверх. Она постучала, дверь открылась, мама сунула рубль тете Кате Фурцевой и сказала что-то вроде того, что мы не нуждаемся в подачках. Тетя Катя взяла рубль и что-то сказала вроде того, что не хотела обидеть.

Мама повернулась и пошла вниз, держа меня за руку. Я понял, что произошло что-то очень важное – для меня лично. Мы к этому случаю никогда не возвращались. Даже папе не рассказали – не сговариваясь. Всё было ясно и очень полезно.

Черный ход, разумеется, соединялся с кухней, поэтому в нашу квартиру вход был через кухню. Кухня была большая и тоже смотрела окном во двор. Следующие комнаты, направо и налево, занимала разведенная семья Кулагиных. Слева было целых две небольшие комнаты, где жила Милочка Кулагина и ее дети Ира и Володя. Ира была взрослая девушка, старше меня лет на двенадцать. А Володя был старше меня лет на пять или шесть. Их комната смотрела на улицу. А направо, в узенькой комнате-пенале жил их бывший муж и отец Ваня Кулагин, попивающий старик, часто небритый, часто в пижаме. Человек довольно странный. По-моему, немножко повредившийся умом. Может быть, из-за водки, а может, из-за биографии своей.

Судя по всему, он был из команды Артузова – Судоплатова. Он выходил на кухню с бутылкой и, выпив примерно полстакана (никого при этом не угощал, никому не предлагал, сам с собой пил) и закусив луковицей, говорил: «Из этого самого нагана...» – и вынимал из кармана пижамы старый с рассверленным стволом револьвер. Очевидно, в органах ему оставили наган на память, но наделали дырок в стволе, превратив в безобидную железку. «Из этого самого нагана я в зарубежных странах контру бил. Бил, бил, убивал», – говорил он, ловя мой удивленный взгляд. Потом выпивал еще стакан. «Убивал, стало быть. Людей убивал. И душу свою, стало быть, сгубил. А отчего? Кто велел? Коммунисты проклятые». Вставал и шел по коридору и начинал стучаться в следующую после Милочкиной комнату по левой стороне. Это была самая лучшая комната в нашей квартире: большая белая двустворчатая дверь, два окна, площадь, наверное, под тридцать метров. Там жила старая большевичка с очень революционно-демократической фамилией Крышталович. Нина Николаевна Крышталович! Среднее между Засулич и Дебогорий-Мокриевич. Не только фамилия – она и внешне была вся такая. Черный низ, белый верх. Суконная юбка в пол и кофточка с плеченым передом и высоким воротничком. Тонкие золотые очки, седой пучок. Очевидно, никаких особых заслуг перед революцией у нее не было, кроме безупречного дореволюционного партийного стажа. Поэтому и награждена она была самой лучшей комнатой в подвальной коммуналке самого лучшего дома (официально наш дом назывался Пятый дом Советов).

Ваня Кулагин стучал в ее дверь и кричал: «Большевики, коммунисты, душу мою сгубили!» На третий такой приступ дверь открывалась, появлялась стройная, сухая и разгневанная старуха Крышталович и говорила учительским голосом, в котором не было ни страха, ни возмущения, ни гнева: «Иван Иванович, как вам не стыдно, вы же член партии». На что Ваня, из кармана достав смятый картуз, напяливал его себе на голову, делал дурацкое лицо, неприлично пыркал губами и говорил: «А Ленин тоже кепочку носил!» – и пыркал еще раз. Старуха Крышталович затворяла дверь, и слышно было, как она шагает от двери то ли к столу, то ли к окну. Кажется, она даже дома не ходила в тапочках, а носила такие вот социал-демократические курсисточные ботиночки на шнурках. Этот концерт, точнее говоря, эта реприза повторялась примерно раз в полгода. Во всяком случае, я видел это не один раз. Вообще же

Ваня Кулагин, несмотря на битую контру и погубленную душу, был очень добрый человек и однажды угостил меня калмыцким чаем с маслом. Я съел несколько ложек из вежливости.

Стенка в стенку с Кулагиным жили Черногоровы. Юра, Галя и Алёнка. Внимание, та самая Алёнка из «Денискиных рассказов»! Юра был художник. А следующая комната была наша, где мы теперь жили с мамой и папой. Беда была в том, что комната Черногоровых и наша комната по какому-то старинному плану были смежными, то есть каждая выходила в коридор, но внутри они соединялись большой двустворчатой дверью. Конечно, дверь была плотно заперта, забита гвоздями, выкрашена белой краской в несколько слоев, так что даже случайно никогда не могла раскрыться. Но зато слышимость была абсолютной. У Черногоровых часто собирались гости. Они веселились, шумели, хохотали, а потом начинали петь. И чаще всего пели тогдашний шлягер «Ландыши». «Ландыши, ландыши, светлого мая привет». «Ландышее, ландышее», – как пели женщины за столом. Так что в Денискином рассказе «...и чего не люблю» эта песня упомянута не случайно. Литература, так сказать, и жизнь.

Юра и Галя то и дело ссорились. Юра был все время недоволен. Он часто кричал на Галю. Помню обрывки фраз. «Да, это я, я Юра, а ты что удивляешься?» Загадка. И вдруг – «Я мог бы работать. Я мог бы развивать свой талант. А вот теперь...» Что он имел в виду? Чем ему мешала Галя? Веселая, худенькая, довольно красивая... Она была, как тогда говорили, служащей. Работала в одном из бесчисленных министерств, главков или трестов, которые занимали почти все первые этажи московских зданий. Куда ни глянь, Главмосстроймеханизация № 18 – а значит, есть как минимум еще семнадцать штук. В общем, Ремстройснабсбыт. Я это вспомнил потому, что Галя была жутко недовольна унификацией цен на троллейбус – ну, и на весь городской транспорт тоже. Раньше в московском троллейбусе билетик стоил от 10 копеек (это я про «старые» деньги говорю) и чуть ли не до рубля – в зависимости от количества остановок. А потом раз – и всё по 40. В трамвае по 30, зато в автобусе по 50. «Вот назло пешком ходить буду, – кричала Галя на кухне. – Мне ж теперь в один конец в четыре раза больше платить надо!» И еще Галя была дико возмущена денежной реформой 1961 года. Не одна она, честно говоря. Только за счет округления цен вверх (то, что стоило 25 копеек старыми, стало стоить 3 копейки новыми), как с пугающей откровенностью признавался товарищ Косыгин, казна получила десятки миллиардов рублей, причем новых.

Но Галя была возмущена, скорее, внешней стороной вопроса. «Раньше, – кричала она, – у меня был оклад 250 рублей, а теперь дадут 25, и умывайся!» (Это «и умывайся!» я хорошо запомнил. И сам стал так говорить.) То есть она, как и половина советского народа, была убеждена, что зарплату срезали в десять раз. Во всяком случае, был такой анекдот: автобус перевернулся, двадцать человек погибло. Ух ты, это же двести по-старому.

Потом в комнате Крышталович, которая очень скоро исчезла, наверное, просто умерла, а мы, дети, и не заметили, – стал жить Галин брат с женой. Очень красивый мужик. Шофер, кстати говоря. И жена его Лида тоже красивая. Потом у них родился сын, мальчик Олежка. Кажется, я видел его имя и фамилию в титрах какого-то фильма. Интересно, что он тоже работал водителем – если, конечно, это он.

Анапротив нашей комнаты, следом за Крышталович, был еще один, так сказать, двухкомнатный блок. Там жила Вера Сергеевна Киреева, портниха, очень русская и очень миловидная женщина, и ее дочка, которую звали Тамара Санглебаева. Она была, наоборот, большеглазая, смуглая, черноволосая, бегала по коридору и босиком забегала в туалет, дверь которого выходила в кухню. Ваня Кулагин, который, бывало, на кухне пил чай, глядел на нее и говорил: «Эх ты, сакля».

Раз у мамы куда-то подевались белые летние перчатки, а бабушка Рита подумала на эту Тамару. Она сказала: «Алла, у тебя дверь в комнату открыта, когда ты на кухню уходишь. Может быть, Тамара вошла и взяла». – «Как? – возмутилась мама. – Вы хотите сказать, что



Тамара проворовалась? Что она вошла без спросу в нашу комнату и украла мою вещь?» – «Зачем же «украла»? – усмехнулась бабушка. – Просто взяла». – «Как это «взяла»?» – «Идет по коридору, дверь открыта, видит – лежат на подзеркальнике перчатки, она зашла и взяла!» – «Ужас!» – закричала мама. «Жизнь...» – вздохнула бабушка.

Но настоящий ужас в том, что я не слышал этого разговора, это мама мне рассказала и добавила, что бабушка Рита плохо относится к людям, никому не доверяет, всех считает ворами... Но я бабушку не разлюбил. И маму тоже.

Меня смущало слово «проворовался». Я часто слышал: «Начальника треста на той неделе сняли, а вчера под суд отдали. – Почему? – Проворовался!» «У нас в столовой повариху выгнали: проворовалась!» И так далее. Для моих ушей «проворовался» звучало как «проболтался», «протратился» и даже как «проскочил». То есть болтать, тратить и скакать – это нормально. Нельзя лишь болтать и тратить лишнего, скакать мимо нужной двери... В слове «проворовался» (не «украл», не «своровал», а именно «про-воровался», как «про-говорился») для меня звучало признание нормальности воровства, и мне было стыдно.

Вера Сергеевна рассказывала моей маме, как она была замужем (а мама уже сильно позже рассказала мне). Это было еще до войны. Муж был настоящий, законный. Но моложе. Вере Сергеевне было двадцать шесть, а ему двадцать один. Она работала в ателье, а он студент был. Пришел мамину кофту ушить, чтоб ему было вроде тужурочки. Бедно тогда люди жили! Ну, слово за слово, кино, свидание, Верочка то, Верочка сё... Звали его Модест, сокращенно Дюсик. Расписались, стали жить вот прямо в этой комнате. Но недолго.

Мама спросила: «Почему недолго? Что случилось?» Вера Сергеевна объяснила, что сначала хорошо жили, а потом он стал поздно домой приходить. Ну, понятно – студент института! Семинары какие-то, с друзьями готовятся к экзаменам и все такое. Вера Сергеевна к этому спокойно относилась, потому что сама сидела до ночи в ателье, там директор разрешала левые заказы, за половину; в общем, жили как-то. А потом бабах! От него духами пахнет! Скандалить не стала. Выследила. Потихонечку за ним пошла, топ-топ, трамвай-метро, два переулочка налево – приехали. Большой такой дом. Он в подъезд, она за ним. Он на лифте, она туфли в руки и бегом вверх. Он в дверь звонит, ему открывают, и она прямо туда за ним врывается. Квартира отдельная, большая, шикарная. Тут выбегает какой-то совсем пожилой мужчина, почти старик, в плюшевом халате. Хлопает глазами, вдруг становится на колени и чуть не плачет: «Верочка! Вас же Вера зовут, да? Верочка, умоляю, не отнимайте у меня Дюсика! Это моя последняя радость!» «И что вы?» – спросила мама. «Я прямо ошарашена!» – сказала Вера Сергеевна. – Но через две секунды все поняла! Засмеялась, как в кино: ха-ха-ха-ха! Берите себе! Кушайте на здоровье! Ха-ха-ха-ха! А этот старичок стоит на коленях, руки мне целует. Спасибо, Верочка, спасибо, деточка! Ну, утром Дюсик пришел домой, и мы с ним в загс побежали, разводиться». Но Дюсик явно не был отцом Тамары, Веры Сергеевны дочки.

Вера Сергеевна вошла в рассказ «Кот в сапогах» – одолжила Дениске Кораблёву хвост от старой горжетки.

А дальше, в двух последних комнатах, жили загадочные Виноградовы, которые иногда проходили по коридору и скрывались в его темном конце. Про них никто толком ничего не знал, а на свет выходила только их мама-бабушка-жена – непонятно кто, крепкая тетка Анна Ивановна. Дети во дворе дразнили ее и кричали: «Анка-Ванка-бабка-виноградка-дурка!» Она не обращала на них внимания. Но когда увидела меня в той компании, сказала мне, что, если я еще буду хулиганничать, она подговорит черта, и черт меня за ногу схватит, когда я буду выходить из подъезда. Объяснила, что там есть такая щель между дверями и в этой щели черти живут, ее знакомые. Я на самом деле испугался. Я спросил свою бабушку, но не Риту, а Аню: «Бабушка, что делать, если на меня хотят черта напустить?» Бабушка спокойно и серьезно

сказала: «Богу молиться надо. Креститься и молиться». Креститься я умел. Специально не учился, просто видел, как люди крестятся – та же старуха Февронья Федоровна из квартиры на Покровке. «А как молиться?» – спросил я у бабушки. «Да просто говори: «Боже, помоги» или «Боже, упаси»». Наверное, я был очень невротический ребенок, склонный к обсессивно-компульсивным расстройствам. Поэтому, проходя мимо темной щели, которая была между подъездом и дверями, я глядел прямо перед собой, быстро крестился и шептал «Боже, упаси меня от виноградовского черта». Причем не шептал, а именно говорил тихо и отчетливо, чтобы Бог услышал. Я был уверен, что Бог существует. Но представлял его себе, как древние люди или неграмотные крестьяне – как большого бородатого старика, Самого Главного Начальника. Главнее Сталина.

Про Виноградовых было известно, что кто-то из них всегда сидит. На кухне говорили: «Вовка Виноградов сел. А Сережка Виноградов скоро выходит. Но ничего, потом опять сядет».

Когда мы въехали в квартиру на Грановского и расставили мебель, мама с папой позвали гостей. Мебель, кстати говоря, была расставлена следующим манером: поперек комнаты, разделяя ее на два отсека, стоял веселого желтого цвета шкаф вроде серванта (в середине стекло, по бокам глухие дверцы). За шкафом, ближе к окну, стояли две кровати – большая папина и мамина и маленькая моя. А уже ближе к двери стоял круглый обеденный стол, естественно, под абажуром.

Круглый стол был единственным письменным, так сказать, местом в нашей комнате. Мама на нем раскладывала свои программы концертов, я немного погодя делал уроки, а папа писал свои репризы и интермедии для театра «Синяя птичка», а также песни – один или вместе со своей соавторшей Милочкой Давидович. Но главное, мы за ним завтракали, обедали и ужинали. Бабушка Рита иногда приходила к нам специально, чтобы пойти со мной погулять. Мы шли с ней, например, в Александровский сад, потом возвращались, а за столом сидел папа и что-то писал. Бабушка говорила: «Ребенку пора обедать!» – и делала рукой решительный жест, командуя: «Убрать, убрать, убрать». И папа послушно собирал бумаги.

Этот стол одним своим краем придвигался к заколоченной двери, ведущей в комнату Черногоровых. А по другую его сторону стоял диванчик, на котором я иногда спал.

## 9. Слова и смыслы

Чуть ли не назавтра после переезда мама с папой позвали гостей, а я впервые вышел во двор. Как раз когда взрослые уселись за стол выпивать-закусывать и праздновать новоселье.

Я вышел во двор, и ко мне тут же подбежали три или четыре паренька. Как я потом узнал, из «дворников». «Ты чего здесь делаешь?» – спросил меня мальчик. «Мы сюда переехали» – ответил я. «Уй ты! – сказал он. – А куда?» – и повел глазами по верхним этажам дома. Мне кажется, я сразу понял, что он имел в виду – не «принц» ли я случайно. Хотя тогда еще я не знал об этих двух кастах. «Нет, – сказал я – в шестьдесят седьмую, – и глазами показал на наше окно. – Вот в эту комнату». – «А, – сказал мальчик и протянул мне руку. – Меня Толя зовут, а тебя как?» – «А меня Денис». – «А ты матом ругаться умеешь?», – спросил Толя. «Нет, – сказал я. – А как это?» Он сказал: «\*\*\*\*\*!» (потом я понял, что это два слова, которые он произнес как одно). «А что это?» – спросил я. «Это еще не всё», – сказал Толя. «А что еще?», – спросил я. «\*\*\*\*\*!» – выпалил Толя. Всё неприличные слова, всё имена существительные. Он перевел дыхание и прибавил единственный глагол, в его устах похожий на какое-то итальянское слово – то ли «палаццо», то ли «рагаццо».

Но про итальянское слово и имена существительные я понял потом. А тогда только руками развел. «И еще черт засранный!» – завершил Толя. «А что это? – спросил я еще раз. – Что это значит? Вот это длинное слово?» Потому что черта засраного я сам понял. «Подрастешь – узнаешь, – сказал мне Толя и ткнул меня не больно и щекотно пальцем под ребро. – А фамилия твоя как?» – «Драгунский», – сказал я. «Уй ты! – сказал он. – А я Базаров». И ребята убежали. Я сразу забыл это длиннющее слово, кроме первых слогов.

Поэтому я не стал дожидаться, пока подрасту, и побежал домой. Пробежал по коридору, открыл дверь. Все гости – их было человек восемь, они тесно сидели за нашим круглым столом – посмотрели на меня, а я громко спросил: «Папа, мама, а что такое \*\*\*\*\*?» Кто-то из гостей захохотал, а кто-то сказал хохочущим: «Т-с-с-с». «Это плохие слова, – сказала мама. – Это ругательства. Ругаются только очень плохие, невоспитанные дети. Но ты ведь хороший и воспитанный». «А кто это тебе сказал?» – спросил папа. «Один мальчик, – сказал я. – Фамилия Базаров». – «Базаров, ого! – засмеялся кто-то из гостей. – Нигилист Базаров!» И все тоже почему-то засмеялись. Всю литературную утонченность этой шутки я понял значительно позже.

Мама строго посмотрела на меня – глаза у нее были зеленые, как крыжовник, прямо как в рассказах про Дениса Кораблёва. «Обещай мне, что ты больше никогда не будешь ругаться. Обещаешь?» – «Обещаю», – сказал я.

Но мне, как нарочно, все время хотелось ругаться. Правда, я ругался только чертом засранным, потому что скоро забыл то слово. Я сдерживался изо всех сил. Не всегда получалось. И я с наслаждением кричал какому-нибудь приятелю: «Ах ты, черт засранный!»

Но я был честным мальчиком. Я признавался маме, что сегодня ругался. Она меня наказывала: не пускала во двор гулять. И я сидел на диване и скучал.

Однажды в воскресенье днем мама с папой ждали гостей. Я очень любил гостей, обожал толочиться вокруг стола и слушать взрослые разговоры. Но мама сказала: «Иди погуляй во двор». Я изобразил горестное раскаяние и сказал: «Сегодня утром я ругался...» – «Опять?!» – мама всплеснула руками. «Ну и как же ты ругался?» – нахмурился папа. «Я сказал Костику, что он черт засранный», – прошептал я, предвкушая, что мне запретят идти гулять и я останусь с гостями. «Ты просто ужасающий сквернослов! – сказал папа. – Это никуда не годится! Ну, ладно, беги, беги. Костику привет».

Я пошел гулять во двор, и мне как-то совсем расхотелось ругаться.

Но это было потом.

А тем же вечером я встретился еще с одним мальчиком, моим ровесником. Мы с ним познакомились, и он меня спросил: «А у тебя дедушка кто?» Я честно сказал: «Шофер», имея в виду дедушку Васю, потому что про дедушку Юзефа я тогда вообще ничего не знал. «А у меня – маршал», – сказал мальчик. «Здорово!» – сказал я. Но потом подумал, а почему это он спросил про дедушку, а не про папу? Среди мальчишек ведь принято папами меряться, а вовсе не дедушками. И сразу понял почему. Потому что вдруг у него папа просто полковник или, например, инженер. А мой папа – артист. И если бы он спросил, кто твой папа, я был сказал – артист, а твой? А он бы сказал – полковник. А артист в Советском Союзе – это, может, даже посильней полковника, а тем более инженера. Ну а дедушка-маршал – это сразу нокдаун. Но дедушка. А это, вполне возможно, проигрыш по очкам.

Еще там была девочка, очень худая и очень яркая блондинка. Тоже лет восьми. Тоже из подвальных жителей. Которая потом объяснила мне значения первых двух слов. И не только значения. И не мне одному. В подробностях и с демонстрацией.

Двор у нас был замечательный. Тот самый двор, где когда-то одетые в русские народные костюмы няни выгуливали барчуков и даже не знаю, как будет женский род он слова «барчук» – барышень, господи боже мой! Садик, посреди садика – давно не работающий фонтан в виде мальчика, который держит под мышкой большую рыбу, а у рыбы изо рта торчит трубка, откуда должна была брызгать вода. Но фонтан был безнадежно сухой, а мальчик сто или двести раз покрыт густой золотой краской, отчего все его мальчишеские признаки уже совсем закрасились и превратились в едва заметный бугорок. Впрочем, и пальцы на его ногах и руках тоже срослись, и пупа совсем не было видно, разве что маленькая впадинка. Вокруг этого фонтана мы и сидели, обсуждая наши дворовые, а потом и школьные дела. Еще были скамейки. На них сидели ребята постарше.

Когда-то, рассказывала моя мама, чугунные резные ворота были закрыты чем-то глухим, наверное тонкой сталью, так что никто из прохожих не мог увидеть, что делается во дворе. Станным образом в будке охранника не было окошечка, и он не видел, какая машина подъезжает. Машина должна была просигналить, и тогда охранник бежал отворять ворота. Вручную, без всякого электричества. Наверное, он знал машины по голосу, рассказывала мама. Нарком Ворошилов ездил на огромной немецкой машине марки «хорьх», у нее был громкий хриплый сигнал, под стать названию, – и мама издавала какой-то особый горловой звук, который не передашь буквами, вот такой: хре-хре. А в доме, тоже в подвальной квартире, но в другой, жила девочка-грузинка по имени Венерка. И вот девчонки подкрадывались к забору, и Венерка, приложив руки к губам, изображала этот сигнал, кричала: хре-хре! Охранник бежал открывать, они – врассыпную, а он грозил им кулаком вслед.

Полагаю, глухой забор был с 1920-х годов, когда в дом въехала советская элита, и, наверное, до весны 1956-го, когда это укрытие сняли вместе с памятниками Сталину по всей стране. Так что сейчас мы стояли изнутри и смотрели, как люди ходят по улице Грановского. И все видели нас. Однако войти во двор так просто-запросто было нельзя – ворота открывались кнопкой из будки, а рядом была калитка, и надо было ответить охраннику, куда идешь. Первые два-три дня я говорил: «В шестьдесят седьмую». Никаких документов не спрашивали – в шестьдесят седьмую так в шестьдесят седьмую. А потом охранники привыкли и ко мне, и к маме с папой, и к бабушке, которая иногда приходила нас навестить. Я не раз видел, как через эту калитку, оставив машину на улице, проходила Нина Петровна Хрущева. Седеющая, с аккуратным пучочком, в синем платье в мелкий цветочек – сейчас бы сказали «в стиле Лоры Эшли» – и с сумкой, из которой торчала газета «Правда», название было видно издалека. Нина Петровна,

как и ее муж Никита Сергеич, были прописаны в этом доме, хотя жили, как и положено, в загородной резиденции. Но Нина Петровна состояла на партучете в домовая партийной организации как неработающая, и у нее было партийное поручение – политинформация среди работников домоуправления. Мама говорила, что это называлось странным словом «читка». То есть Нина Петровна просто читала дворникам, водопроводчикам и пенсионерам несколько статей из «Правды». И вот так раз в месяц.

Мы с ребятами сначала катались на великах, а потом садились на скамеечки вокруг фонтана, отдохнуть и поговорить.

Разговаривали про всё на свете. Но в основном про девчонок (какие они все дуры) и про войну (какой маршал был главнее). Выходило, что всех главнее маршал Жуков. Это никому не было обидно, поскольку в компании не было его внуков. Тем более что маршал Жуков тоже когда-то жил в этом доме, а потом уехал. То есть «его уехали, понял?» – сказал один мальчик. Я понял.

Один раз мы так сидели, побросав велосипеды на землю, – и вдруг кто-то из ребят сказал: «Уй ты! Жуков приехал!» – «Где?» – «Да вон, вон! У подъезда!»

Жуков был в обыкновенном пальто. Стоял и разговаривал с каким-то человеком в генеральской шинели. А может быть, и в маршальской. Мы тут же сели на велики и стали кататься вокруг. Доезжали до Жукова, делали разворот, отъезжали и возвращались снова. А сами смотрели на него во все глаза. Потом он ушел. Мы снова сели на лавочку. «А почему он в штатском?» – спросил я. «Ты чего! – ответил мне кто-то из ребят. – Его Хрущ из армии выгнал! – И шепотом: – Хрущ его забоялся».

Так получилось, что я, принадлежа к старинной великой корпорации дворников, больше знал именно про челядь, чем про хозяев. И вот что интересно: домработниц в нашем дворе называли, как в старой России, по фамилиям хозяев. Типа Машка Рокоссовская, Дунька Косыгина, Фроська Буденная и так далее.

Они выходили на черный ход полужгать семечки и порассказать о капризах хозяек. «Я ей ночные рубашки постирала, погладила, несу. А она орет: «Безобразие! Только грязь развела! Перестирать немедленно!» Я молча забираю, в кухню несу, часа через два водичкой сверху побрызгаю, подглажу. Принесу. Она довольная такая: «Вот! Теперь другое дело!»» Подруги-домработницы начинали хохотать и что-то такое же рассказывать. Было похоже на народную сказку – про глупую барыню и хитрую служанку.

Про жену Буденного рассказывали ужасную историю. Это была его настоящая фронтовая подруга, которая так и не оберлась в столице, носила гимнастерку, красную косынку и маузер в деревянной кобуре на широком кожаном поясе. Она проводила все дни на заднем дворе, лужая семечки вместе с домработницами. А однажды села на лавочку, попросила своих подруг отойти в сторонку, вытащила маузер и застрелилась. Говорят, из-за того, что славный маршал изменил ей с артисткой, а скорее всего, просто от бесконечной тоски и бессмыслицы жизни.

Впечатления накладываются на рассказы. Вот этот, например, случай я знал от мамы. Да и мама, может быть, слышала от бабушки. Хотя нет. Мама была 1924 года и вполне могла в своем детстве этот случай запомнить. Я не знал, как застрелилась женщина, но зато видел скамеечку, о которой говорили: «А вот здесь жена Буденного застрелилась». Я не видел, как в одно из ранних утр 1937 года двор вдруг опустел. Не приехала ни одна машина из тех, что еще вчера толклись во дворе и на улице у подъездов. Когда моя тринадцатилетняя мама вышла во двор, она изумилась пустоте и тишине и спросила у дворника: «А где все?» Дворник сказал ей: «Сегодня ночью взяли всех врагов народа». Я этого не видел, повторяю, но мамин рассказ впечатался в меня настолько сильно, что мне казалось, я тоже помню это странное утро. Теперь можно сказать, что оно страшное, а тогда – просто странное.

Дом, как я уже говорил, состоял из трех строений или корпусов. Если встать посреди двора, правый, левый и центральный – очевидно, самый роскошный, потому что вход в него был не как во все обыкновенные подъезды, а под отдельным, немножко итальянистым куполом. Весь двор был окружен не только чугунным забором со стороны улицы, но и сзади и с боков довольно высокой кирпичной загородкой метра два самое маленькое. А между этой загородкой и центральным корпусом образовался коридор шириной метра три-четыре, по которому можно было ездить на велосипедах. Он назывался «черный ход» или, проще говоря, «чёрка». «Пойдем на чёрку!» – говорили мы и бежали туда или садились на свои маленькие велики.

С левой стороны был небольшой тупик, а эта трехметровой ширины улочка заканчивалась маленькой площадкой. Дальше, чтобы выйти снова во двор, надо было пройти по совершенно темному короткому тоннелю: сперва спуститься на три ступеньки, пройти по нему метров десять, а потом снова подняться на три ступеньки – и ты во дворе. Поэтому на великах проехать тоннель было невозможно. Можно было, конечно, слезть с велика и протащить его через ступени, но это было слишком трудно и глупо, так что мы разворачивались перед этим тоннелем и ехали обратно. Разворачиваться тоже было не очень легко. Проезд в этом месте расширялся, но недостаточно для того, чтобы спокойно сделать круг на велосипеде. Проще было остановиться, слезть с велика или просто, стоя на одной ноге, развернуть его назад. Но старшие мальчишки во главе с нигилистом Базаровым заставляли нас, малышню, разворачиваться как следует, не слезая с велика. Это было трудно, мы падали. «Да ну к черту, – однажды сказал я, – как хочу, так и разворачиваюсь!» Слез с велосипеда и повел его, так сказать, под уздцы. «Значит, ты трус», – сказали старшие. «То есть как?» – возмутился я. «А вот так, – сказали они. – Не будешь разворачиваться как надо, будем считать тебя трусом». – «Ну и пожалуйста, – сказал я. – Считайте меня кем хотите. Трусом, гадом, пожалуйста. Главное, не называйте громко». Вот какой я был хитрый. Но не вышло. «Еще чего, – сказал Базаров. – Именно что будем называть». И все закричали: «Трус, трус, трус!» Ну, раз такое дело, пришлось, хоть и страшновато было, разворачиваться. Пару раз упал, один раз разодрал коленку, но потом все получилось прекрасно.

Смешно вспомнить, но полезно. Роль социального контроля в формировании ценностных ориентаций.

Кстати, о социальных ценностях. Жизнь в Советском Союзе была устроена очень странно. Развитой тоталитаризм – это, вообще говоря, интересная штука. Я уже рассказывал, как авиационный генерал исключительно из-за своей кошмарно звонкой фамилии мог прописать артиста-еврея в Москве. Хотя это было против всех тогдашних законов и правил и даже против линии партии на борьбу с безродными космополитами. Другое дело, что и отказ в прописке был неправомерным, да и сама прописка как институт не имела ничего общего с Правом с большой буквы – а вот поди ж ты.

В 1958 году мой папа купил автомобиль. То есть можно было жить в подвале, вдвоем в одной комнате в коммунальной квартире, но при этом быть собственником новой красивой «Волги». Папа говорил, что он истратил на нее все деньги. У меня даже где-то есть фотография, где папа стоит около своей машины, держа в руках кепку по-нищенски, как будто просит милостыню, и лицо строил такое жалостливое. И надпись: «В.Ю. Драгунский после покупки автомобиля». Хотя, конечно, на самом деле деньги он истратил вовсе даже не все, потому что уже тогда они с мамой строили кооперативную квартиру. Третью квартиру в моей жизни – но до нее еще надо дойти.

Папа вообще был скуповат. При этом скуповат как-то странно. Он совершенно не жалел денег на рестораны, но купить магнитофон для него было целой драмой. «Нет, – говорил он, – двести рублей, это же с ума сойти, это же ужас какой-то». Я пытался ему объяснить, что он

выбрасывает деньги, угощая своих приятелей в ЦДЛ или в ВТО. Ему казалось – наоборот. Разные у нас были приоритеты. А когда папа купил дачу, он очень тревожился, что остался совсем без копейки. Хотя, честно говоря, дача по советским масштабам обошлась в действительно сумасшедшую сумму – тридцать тысяч рублей. В 1970 году это было вообще черт знает что. Но я еще вернусь к этим сюжетам. Это будет уже совсем взрослый Денис Кораблёв, то есть уже почти совсем и не Кораблёв вовсе.

Папина «Волга» стояла во дворе, напротив нашего окна. Когда ребята, как принцы, так и дворники, увидели эту машину, они сбежались и принялись ее всячески нахваливать. Особенно принцы. Дворники, возможно, слегка завидовали: чего это вдруг, из наших, из подвальных, а на машине. Принцы же, наоборот, были в полнейшем и бескорыстном восторге. «Вот это да! – говорили они. – Машина, какая красивая, «Волга», голубая, собственная, собственная!» – «Подумаешь, «Волга», – говорил я, скромно принимая эти похвалы, как будто эта машина была моя. – У тебя дедушка, небось, на ЗИСе ездит», – говорил я какому-то маршальскому внуку. Парень был постарше меня. «Эх ты! – сказал он мне, глядя на меня как на совершеннейшего дурачка. – Ты что, не понимаешь? У вас собственная, а у нас казенная. Тю-тю – и завтра нету». Очевидно, родовая память о 1937 годе не отпускала принцев и в 1957-м. Да ведь всего каких-то двадцать лет, чепуха.

Я родился в декабре, 15-го числа. То есть в сентябре 1957 года до полных семи лет мне не хватало трех с половиной месяцев. Но мама все-таки повела меня записывать в школу. Конечно, она была права. Папа возражал: «Зачем?» Мама объясняла: «Чтобы у него был лишний год до армии, когда в институт поступать будет». – «Что ты! – говорил папа. – Парень умный. Он и так с первого раза поступит». Мама не уступала: «Все равно, начать жизнь на год раньше это же гораздо лучше».

Я слушал эти разговоры, и мне совсем не хотелось в школу. Почему? Потому что я страшно боялся проспять. Я всегда удивлялся, как люди успевают вовремя прийти на работу, в институт или в школу. Нет, я, конечно, понимал, что если мне надо прийти куда-то в два часа дня, то проблем нет, но в восемь утра – это ужас. Но я ничего подобного маме не говорил, мне было стыдно.

Мама все-таки привела меня в школу. Зашла со мной в кабинет директрисы и стала напористо уговаривать ее, чтобы меня приняли уже в этом году. Директриса задавала ей какие-то вопросы, мама отвечала, а я сидел на большом дерматиновом диване и вдруг нечаянно заснул, положив голову на толстый круглый валик. «Вот видите! – разбудил меня голос директрисы, которая ласково трогала меня за нос. – Вот видите, какой он еще маленький». И положив маме руку на плечо и заглянув в глаза, сказала: «Не отнимайте у ребенка детство». Вот мама и не отняла. Так что я начал жизнь на год позже.

## 10. Дошкольные подробности

До школы я довольно часто бывал у бабы Ани и дедушки Васи на Третьей Песчаной. Я точно не помню, где жил мой дядя Валерий (домашнее имя Эрик), их младший сын. Иногда мне кажется, что там же, а иногда – нет. Но дедушка Вася не любил своего младшего сына, презирал его и всячески над ним насмехался. Причина была проста. Взглянем на остальных детей. Женька был рабочий, монтажник-высотник – не просто, а на секретных ракетных объектах, уже к тому времени бригадир и даже, кажется, орден получил. Муза и Алла – жены своих мужей и матери своих детей, уважаемые домохозяйки.

Когда моя мама ушла из «Березки» и какое-то время сидела дома, я в простоте душевной называл ее домохозяйкой. То ли в школе, то ли в разговорах с друзьями. Это до нее долетело, и она мне устроила жуткий скандал. Сказала, что она никакая не домохозяйка, а просто временно неработающая женщина. Тем более что довольно скоро – ну, как скоро, года через четыре после того, как я ляпнул это обидное слово, – она стала студенткой-заочницей иняза.

Так что из четырех детей дедушки Васи трое были, с его точки зрения, нормальные. А на Валерике-Эрике случилась запинка – он стал музыкантом. Он был способный к музыке человек, потому что просто так, по капризу, мальчик из семьи рабочего (а что такое шофер, как не рабочий высокой квалификации?) не станет заниматься музыкой, если у него нет какого-то внутреннего толчка, подпертого способностями. Эрик поступил в музыкальное училище по классу гобоя, что вызывало у дедушки Васи приступы сардонического смеха: «Мужик на дудочке дудит!» – хохотал он. Странное дело, дедушка Вася общался с писателями, журналистами, возил, напомним, и учил водить машину самого Козловского. Казалось бы, откуда такая простонародная темная злоба к человеку искусства? Очевидно, не в дудочке дело. Не любил он Эрика. Может быть, просто потому, что Эрика сильнее прочих любила дедушкина жена, то есть моя баба Аня. Не знаю, насколько правильно подмешивать сюда фрейдизм, пусть это останется загадкой.

Итак, я не знаю, что там было внутри, но снаружи был сплошной ужас. Не помню ни одного дня, чтобы дедушка и Эрик не поссорились. Вернее, это были не ссоры. Дедушка ехидничал и покрикивал, а Эрик пытался отбиваться. Иногда это было довольно смешно. Так мне казалось в мои шесть лет. Я называл эти скандалы «бесплатный цирк», когда рассказывал о них маме. Мама отводила глаза или пыталась как-то отшучиваться. Потом я понял, что ей были неприятны мои бестактные слова.

Скажу по секрету, что мои родители – я подслушал это не один раз – считали меня мальчиком холодным и бездушным. Когда я это услышал, мне стало обидно: я-то считал себя, наоборот, очень душевным и теплым, но не знал, как это показать маме с папой. В очередной раз, уже на другой квартире, когда мне было лет одиннадцать или даже двенадцать, я услышал такую мамину фразу: «Какой у нас Денисочка все-таки холодный мальчик. Вот мы уходим с тобой (это она говорила папе) в гости или в театр, а он ложится спать как ни в чем не бывало». – «А что он должен делать?» – спросил папа, не совсем понимая мамино недовольство. «Вот моя подруга Лена рассказывала, что ее дети, бывало, до часу ночи не спали, когда она задерживалась, волновались, даже плакали, – сказала мама. – А нашему все равно».

Я понял, что надо маме. И поэтому в следующий раз, когда они ушли в ЦДЛ то ли кино смотреть, то ли просто посидеть в ресторане с друзьями, а мне велели лечь спать не позже десяти, я решил, что буду их ждать. Я ходил по квартире, включал радио (телевизора у нас тогда еще не было, это был 1963 примерно год), читал книжки, смотрел в окно – то во двор, где была видна гостиница «Пекин» и высотное здание на площади Восстания, то на бегущее внизу в одиннадцатизэтажной глубине Садовое кольцо – и очень хотел спать. Понял, что бороться со



сном бессмысленно, около полуночи нырнул под одеяло и, о счастье, услышал ключ в замке. И тут же начал хныкать, сначала тихо, потом все громче и громче. «Дениска! – крикнул папа. – Что с тобой?» Они с мамой, не снимая плащей, вбежали в комнату, а я скуксил рожу и постарался изобразить плач. «Где болит? Что болит?» – мама присела ко мне на кровать и взяла меня за руку. «Я так скуча-а-аю, – заныл я. – И вообще, я так волну-у-уюсь, так по-о-оздно, где-е-е вы, и вообще, вдруг что-нибудь случи-илось», – заголосил я. «Ты что, девчонка?! – закричала мама. – Парню двенадцать лет, а он хнычет как кисейная барышня. Что нам с папой теперь и в гости не сходить, тебя стеречь? Спи, кому сказано!» Тут я понял, что подлаживаться не надо ни к кому, даже к маме с папой. Себе дороже, в дурачках останешься.

Потом Эрик-Валерик сменил свою музыкальную специальность – из гобоиста стал дирижером. Потому что, как рассказывала мама, он совершенно влюбился в известного тогда дирижера Константина Иванова, который преподавал в их училище. Валерий ходил за ним хвостиком, носил за ним чемоданчик с партитурами и в конце концов добился перевода с духового отделения на дирижерское. Но и тут была небольшая горчинка: Эрик стал не просто дирижером, а дирижером-хоровиком. Потом он ушел в армию, вернее, был призван. «Забрили», – сказала моя мама. И опять ему не посчастливилось, потому что попал он на флот – на Северный флот! – а на флоте тогда служили целых четыре года. Он приезжал на побывки. Высокий, красивый, в черной шинели. Рассказывал кучу интересных флотских историй, как они обидно, но не больно издевались над салажатами. Например, повар, или кок, как его там называли, говорил салажонку, что макароны запылились внутри и их надо продуть. Или что мука очень крупная и ее надо измелить, порубить ножом. Или говорили молодому, ничего не соображающему матросику из деревенских, что придет важная радиограмма из штаба и поэтому он должен с метлой залезть на мачту отгонять от антенны помехи.

Эрик привез с флота пословицу, я ее до сих пор помню и повторяю: «Красив корабль с берега, а берег – с корабля».

Он рассказывал, что рядовым матросам полагалось денежное довольствие. Помню сумму: 2 р. 70 коп. в месяц, на сигареты. С ним служил паренек откуда-то из далекой деревни. Он эти деньги не тратил и всё до копейки посылал домой, маме с папой. Меня это очень растрогало; тем же вечером я вспомнил эту историю и сказал папе: «Повезло родителям этого парня». А папа сказал: «Это ему повезло, что у него такое сердце». Кажется, он даже прослезился – у папы слезы всегда были близко.

Эрик отслужил, демобилизовался, окончил свое училище, стал работать, а где, я точно не помню. Свою карьеру он окончил заведующим редакцией народной музыки в Радиокomiteе, как тогда говорили. То есть в конце концов у него все сложилось. Даже семейная жизнь у бедного Эрика под конец тоже сложилась. Уже во вполне солидном возрасте он женился на Ирине Дубковой. Она была композитором, была и остается, она жива. И у них было все хорошо до самой его смерти в преклонном возрасте. А до этого он все выбирал себе жену много-много-много лет. Почему я об этом так подробно вспоминаю? Потому что тема Эрика занимала изрядную долю времени в наших семейных разговорах. Во всяком случае, в моих разговорах с мамой. Он был немножко смешной. Он на полном серьезе говорил моей маме: «У меня в планах на этот год два дела: купить софу и жениться», – и часто повторял в разговорах слово «софа». Софа такая, софа сякая, софа в рассрочку, софа со скидкой, софа с обивкой, софа синяя, софа зеленая... И мама вдруг закричала на него, схватив сковородку: «Еще раз скажешь слово «софа», пристукну!»

Наконец Эрик уже совсем собрался жениться, познакомил нас с невестой, а через несколько дней принес нам серебряные ложки и вилки, доставшиеся ему в наследство от тогда уже покойной бабушки Ани. «Что это?» – спросила мама. «Серебро, – сказал Эрик. – Возьми

себе». – «Зачем?» – «Чтоб жене не досталось», – объяснил он. Мама подумала минуты полторы, а потом сказала: «Серебро заberi, а жениться я тебе запрещаю». – «Но мы уже подали заявление!» – «А я все равно запрещаю!» – сказала мама и хлопнула ладонью по столу. – Я твоя старшая сестра, я тебя растила в войну, и ты должен меня слушаться!» Он послушался, вот что интересно.

Потом Валерик женился на Тосе. Фамилию я никогда не знал. Она была очень красивая, очень русская, хотя при этом очень черноволосая, чернобровая и, извините за выражение, волосатая. Под прозрачными чулочками на ее икрах было просто черт-те что. Но у нее были яркие синие глаза, красивые губы, и вообще она была человеком хорошим и неглупым. Во всяком случае, нам – то есть маме, папе и мне – она понравилась. Беда была лишь в том – хотя на самом деле я не вижу в этом никакой беды, и мои мама с папой не видели, но, с точки зрения Эрика, беда была, – что Тося, несмотря на свое высшее образование и инженерскую должность, происхождением была из какой-то очень простонародной, очень деревенской семьи. На свадьбе Тосины родственники играли на гармошке и пели частушки, а в слова вставляли имена Валерия и Тоси, то есть это был чуть ли не какой-то свадебный ритуал. Нам с мамой это было очень забавно и даже мило, а Эрик-Валерик наутро пришел к маме (ну, наутро я, наверное, преувеличиваю, через несколько дней пришел) и, обхватив голову руками, сказал: «Боже, что я наделал». Примерно через год они развелись.

Много-много лет спустя мамина сестра Муза, моя тетя, показывала мне семейный альбом – и там среди знакомых лиц я увидел фотографию совершенно посторонней девушки то ли восемнадцати, то ли двадцати пяти лет. «А это кто?» – спросил я тетю Музу. Она сказала: «А это Эрикова незаконная дочь». Боже, я этого никогда не знал! Еще Муза сказала, что у Эрика есть внуки от этой дочери, но что она с ними не встречалась.

С Эриком мы очень дружили. Он рассказывал мне про свои студенческие приключения – как работал проводником (подрабатывал летом) в плацкартном вагоне. Говорил: «Если простой человек чай заказывает, а чай три копейки стоит, я ему всегда с пятачка даю сдачи две копейки. А если какой-нибудь туз, то он мне хоть пятак дает, хоть гривенник, я ему говорю «спасибо!», нагло улыбаюсь и в карман кладу. То есть как будто это он мне на чай дал». – «Эрик! – смеялся я. – Да какой же в плацкартном вагоне туз? Тузы в спальном ездят». – «Э, нет, – мудро говорил он. – Свои тузы есть везде. Даже в теплушках, где навалом везут народ, тоже есть свои тузы и свои простые люди». А еще рассказывал, как он пытался соблазнить проводницу и как осрамился в последний момент. Не донес. И она закричала: «Все вы москвичи такие!» – и вытолкала из купе, не дала передохнуть и испробовать второй шанс. И от этого у него на пару месяцев перестал стоять. В другой раз какая-то девушка его завлекла, уложила в постель, а потом сказала: «Ты красивый, ты с бородой (у него была темно-русская скандинавская бородка) – тебе все дают, а я тебе назло не дам, из принципа не дам!» Так и не дала, но зато «Мой хер ожил!» – сказал Валерик. Все эти разговоры были чрезвычайно полезны восьмикласснику в плане сами знаете какого воспитания.

А в 1966 году Эрик взял меня с собой в Калининград, точнее говоря, в город Светлогорск, в студенческий спортивный лагерь. Я тогда только перешел в девятый класс. Там было прекрасно и интересно, и дело не только в том, что я успел кинуть последний взгляд на кенигсбергский замок, тем летом он был еще цел, – не в замке дело, вы же понимаете! Так что об этом можно было бы написать отдельную повесть. А здесь – пока хватит.

Как-то я спросил папу: «А почему у Эрика такая волосатая грудь и спина тоже, а ты такой гладкий?» – «Очень просто! – ответил папа со всей серьезностью. – Это биология. Все по учению Дарвина. Смотри: Эрик – бедный студент, у него нет денег на зимнее пальто. А я – вполне обеспеченный писатель, у меня есть шуба». Папа часто вот так отвечал на мои вопросы. «Вот говорят: «в Москву за песнями», а почему?» – спрашивал я. «А потому, – отвечал папа, –

что в Москве давным-давно, чуть ли не при Иване Грозном, поселились композиторы Оскар Фельцман и Ян Френкель. И со всей Руси великой народ к ним ехал за новыми песнями». Я всегда на какую-то секунду верил, а потом начинал смеяться.

В квартире на Третьей Песчаной было две комнаты. В одной из них, в той, которая побольше, жили дедушка и бабушка и, очевидно, прописан был Эрик-Валерик. А в соседней жила интересная молодая дама Зойка и ее муж Толя, повар из ресторана «Прага». Толя приходил с работы, на кухне, весело подмигивая мне, расстегивал рубашку и доставал примотанное к своему полному розоватому телу полотенце, в котором была спрятана ветчина, сыр, тонкие брусочки масла, белая рыба и много других полезных и вкусных вещей.

Жена его Зоя ела за обе щеки, но мужа своего осуждала. Помню их разговор с моей бабушкой: «Повар, тоже мне, – хмыкала Зоя. – Вор он, а не повар. Воришка самый настоящий! Все это краденое ведь», – говорила она, накладывая ветчину на толсто намащенный бутерброд и угощая нас с бабой Аней.

Мне было всего лет семь, но мне вдруг показалось неправильным такое отношение к мужу, добытчику и кормильцу, и я спросил: «Тетя Зоя, а вот вы бы хотели, чтобы ваш муж кто был?» Прожевав, она задумалась, вздохнула и сказала: «Ну вот, например, шофер. Партийный».

В бабушкиной комнате стояла двуспальная пружинная кровать с металлическими спинками, на которой она спала с дедушкой. Диван, обтянутый какой-то серой холстиной, такой тугой, что я боялся на него сесть, думал, что она лопнет. Буфет из светлого ореха с латунными накладками в стиле модерн: цветы, птицы и плачущая женщина с длинными волосами, – такая же «модерновая» вазочка из штампованной латуни. Узенький книжный шкафчик с книгами, очевидно натасканными с помойки дома 3 на улице Грановского, потому что на некоторых из них были штампы «Библиотека Н.А.Булганина», а на других штампы вырезаны, и я спросил бабушку – почему? И бабушка мне шепотом сказала: «Библиотека Троцкого». Понятное дело. Там были разрозненные тома энциклопедии «Гранат», большой толстый том про войну, изданный, кажется, в 1943 году, когда война и не думала кончаться. Еще была книжка, которую я смотреть любил, но боялся. Она называлась «Основы жизни», напечатана по старой орфографии. Такой как бы популярный учебник биологии с картинками. А из картинок страшнее всего были фототипии эмбрионов и особенно уродов. До сих пор помню страшного кривоногого однорукого (вторая рука была недоразвитая и маленькая, а первая огромная и, кажется, многопалая) мужика с раздутой головой и ощеренным редкозубым ртом. Бывая у бабы Ани, я раза по три открывал книгу на этой странице и тут же захлопывал, а потом меня тянуло посмотреть снова. Ну и, конечно, «Война и мир», тоже по старой орфографии. А над кроватью висела большая, вышитая гладью икона Ченстоховской Божьей Матери. И моя бабушка, глядя на эту икону и крестясь по-православному, говорила: «Ах, Матка Бозка Ченстоховска». В бабе Ане, по ее словам, была половина польской крови. Ее отец, разорившийся или, по другой версии, проигравшийся в карты мукомол Постников женился на польке по фамилии ажно Чарторыйская – одной из самых главных польских фамилий наряду с Сапегами. То ли этих Чарторыйских действительно как собак нерезаных, то ли эта полька была просто однофамилица, а может быть, сказка. Семейный роман невротика, как говорил приснопамятный Фрейд.

На этажерке, на нижней полке, стояла фляга с водой и пакет с сухим пресным печеньем. Я спросил: «Зачем это?» – «Если атомка будет». – «Что, баба Аня?» – «Атомная война. Управдом сказал».

Было еще большое чучело филина. Филин сидел на суку в коридоре над привинченным к стенке общим телефоном, но принадлежал дедушке и бабушке. У него были красивые пластмассовые глаза, острый клюв, узорчатые перья с золотисто-коричневыми капельками и страш-

ные лапы с когтями. Много позже мамина сестра, моя тетя Муза, рассказала мне историю этого филина. Дедушка Вася привез его откуда-то из Средней Азии. Филин жил в большой клетке. Его кормили всей семьей. Звали, естественно, Филя, и все было хорошо. Но тетя Муза рассказывала: «Однажды я тяжело заболела. Вроде бы корью. Мне было лет десять. У меня поднялась температура, и я себя ужасно чувствовала. Казалось мне, что умираю. А филин вдруг ночью, когда мне стало совсем плохо, как-то странно возбудился, стал бить крыльями, ухать и клекотать, вцепляться лапами в прутья клетки – как будто он хотел на меня наброситься. Наверное, он почуял мою смерть, или уж я не знаю что. Дедушка свернул ему голову, потом отдал в мастерскую, и из него сделали прекрасное чучело». Странная какая-то история. Неясная и страшноватая.

Дедушка Вася часто уезжал в командировки. Эрика тоже не было дома. Мы с бабой Аней оставались вдвоем.

Вечером она укладывала меня спать на диван, а сама ложилась на большую кровать и каждый раз говорила: «Неужели я легла? Неужели день кончился и я наконец легла? Господи, какое счастье!»

Иногда она брала меня в гости к соседке – такой же седой и полноватой, в таком же заношенном платье, жившей в такой же маленькой коммуналке. «Фамилии у нас похожие, и жизнь тоже, – вздыхала баба Аня. – Она Стобецкая, а я Семичастнова. У нее сто бед, у меня семь несчастий». Я читал табличку на квартирной двери – «Стобецкая», смотрел на эту бедную старушку и думал, какую судьбу принесет мне моя фамилия.

Что бедный бросает, а богатый собирает?» – любимая загадка бабушки Ани. Ответ: сопли. Козявки из носу. Бедный сморкается в два пальца, а богатый пользуется платочком и носит отходы своей носоглоти с собой.

Думаю, это относится и к воспоминаниям.

Однажды случилась совершенно ужасная и стыдная история – стыдная для меня повзрослевшего. Было мне лет шесть. У мамы с папой были гости. И поэтому они отправили меня, как это уже много раз бывало, ночевать к бабе Ане. А в этот раз, так как был какой-то большой праздник, кажется старый Новый год, от бабы Ани я должен был ехать к тете Стасе и у нее уже заночевать. Потому что тетя Стася, бабушкина сестра, та самая танцовщица из варьете, жила совсем рядом с нами, тоже на улице Грановского, в доме 5, то есть прямо по соседству. Тоже в коммуналке жила наша бедная тетя Стася вместе со своей дочкой Аллой, Аллой Феликсовной Набоковой – рослой, довольно красивой дамой, которая работала на муляжной фабрике. Алла была, по словам мамы, ужасная сталинистка. Сталинизм ее проявлялся в том, что она то ли в день рождения, то ли в день смерти Сталина носила ему на могилу красные розы. «Откуда такая любовь к Сталину?» – спрашивал я маму. Мама говорила, что Алла ей рассказывала: «Я жила в оккупации. У меня там умер маленький ребенок, а потом Сталин меня освободил и вернул в Москву». «Ну прямо лично Сталин! – говорил я маме. – Не Сталин, а Красная армия и советская власть». Но мама разводила руками. Алла Феликсовна подходила с букетом роз к мавзолею с левой стороны, и охрана спрашивала ее: «Вам что, гражданка?» Она строго отвечала: «Я к Иосифу Виссарионовичу». И ее пропускали. Хотя проход к могилам у Кремлевской стены был запрещен. Только можно было быстро-быстро пройти, выйдя из мавзолея.

Так вот, история. Был праздник. Мне, шестилетнему, дали чуточку выпить, и я сильно охмелел и разбушевался. Бушевал я очень странно: где-то взял ремень с пряжкой и стал вертеть им в воздухе. А потом этим ремнем начал неизвестно зачем колотить по стулу, по деревянному желтенькому стулу из тех, что стояли вокруг бабушкиного стола. Самое смешное, что никто

не попытался меня урезонить, так сказать, старым способом – сгрести в охапку, отнять у меня этот ремешок и надавать по жопе. Хотя за столом были и Валерий, и, кажется, дедушка Вася. А может быть, даже Муза со своим мужем Мишей. Почему они меня не скрутили, грубо говоря? Почему они все это терпели? Неужели они считали, что я, ах-ах, сын Аллочки и Виктора и поэтому меня нельзя отлупить? Потом я устал бушевать. Слава богу, это было в конце вечера. Меня одели, и тетя Стася и Алла Феликсовна повели меня на троллейбус – ехать на улицу Грановского. Уж не помню, какие там были маршруты, но это было довольно далеко. Надо было сначала добраться до метро «Сокол», а там уже по прямой до станции метро «Площадь Свердлова». А там пешком совсем чуть-чуть. По дороге тетя Стася меня спросила: «Ну что ж ты, Денечка, так себя ведешь? Бабушке стул покарябал. Видел, как заехал? Там прямо рубец на фанеровке остался». И я сказал ей фразу загадочную в своей наглости, надменности, а главное, в том, что эта фраза излетела из уст шестилетнего ребенка. Я помню эту фразу прекрасно, потому что повторял ее несколько раз, пока мы не подошли к троллейбусу, и в троллейбусе тоже в ответ на все увещания я сказал: «Я пришлю ей двадцать пять рублей на краснодеревщика». Откуда, как, почему? Я никогда не слышал таких фраз. Я никогда не произносил слово «краснодеревщик» и тем более «пришлю двадцать пять рублей». С кем пришлю? По почте или с лакеем? Черт знает что. Иногда кажется, что язык работает сам, будто бы независимо от нашего языкового, а тем более житейского опыта. Какие-то обрывки фраз, слов и смыслов сами сложились в эту надменную фразу, нелепую в устах шестилетнего мальчишки: «Я пришлю ей двадцать пять рублей на краснодеревщика». С ума сойти.

Убабушки Ани был диабет. Она колола себе инсулин в ногу и в живот, сама. На плите кипел стальной стерилизатор со шприцами. Тогда не было ничего одноразового. Шприц и иглы приходилось кипятить, потом доставать пинцетом толстую иглу, для того чтобы набрать инсулин в шприц, потом менять на тонкую для самого укола. После укола бабушка тут же ставила будильник, через пятнадцать минут он звонил, бабушка съедала несколько ложечек творога и каждый раз говорила: «Ненавижу творог. Ем как лекарство». Она была небольшого роста, полноватая, как все диабетики. А на старых фотографиях – довоенных в старом смысле, то есть до 1914 года, – красивая или, по крайней мере, очень миловидная.

А дедушка Вася был красавец. Высокий, чуть смуглый, худощавый, большеглазый, с гладкой прической на косой пробор. В профиль – с орлиным носом. Анфас – вылитая маска ампириного льва, такие львы были наклеплены между окон как ритмическое украшение домов начала XIX века. Поддразнивая бабушку, он чуть ли не каждый день сообщал, что в него влюбилась то продавщица, то парикмахерша, а то просто дама из очереди в булочной. «Она на меня так посмотрела! Так посмотрела!» – говорил он, косясь на свое отражение в зеркале, поправляя прическу, стряхивая пылинку с пиджака.

Дедушка Вася любил салат, овощи и фрукты. Говорил, съев у нас в гостях тарелку окрошки: «Витаминчики так и забегали по всему организму!» Моя мама над ним смеялась, а он возражал, проводя пальцами от плеч до поясницы: «Но я же чувствую!»

Он рассказывал, как однажды, в начале 1920-х, стоял с приятелями-шоферами у «Метрополя». Они ждали своих пассажиров. Вдруг из ресторана выбежал пьяный Есенин, подбежал к дедушке Васе, схватил его за лацкан пиджака и закричал: «У, жида пархатые, житья от вас нет! Куда ни глянешь, везде жида!» Я спросил: «Дедушка, но ты ему хоть по морде надавал?» – «Ну нет, – сказал дедушка Вася. – Неудобно как-то. Все-таки Сергей Есенин, я его сразу узнал. И пьяный вдребезги».

Дедушка Вася брился безопасной бритвой. У него была специальная машинка, называлась «прибор для правки бритв». Вжик-вжик – и затупившаяся бритва была как новенькая. И так можно было делать много раз. «Серьезная экономия!» – объяснял мне дедушка Вася. А еще у него были две настоящие бритвы, опасные. Одна русская, а другая немецкая, с двумя

человечками-близнецами на зеркальном лезвии. И ремень был специальный, тоже для правки бритв. Но опасной бритвой дедушка при мне не пользовался, а на вопрос «почему?» отвечал просто: «Опасно». Они лежали в жестяной коробке, и я их с дедушкиного разрешения рассматривал. «Только осторожно, – говорил дедушка. – Не порежесь». Я ни разу не порезался этими бритвами.

А вот тете Стасе я однажды порезал палец – перочинным ножичком с перламутровыми накладками. Как-то случайно вышло. Я возил ножичком по столу, а тетя Стася то ли убирала салфетку, то ли постилала ее – в общем, я задел ее палец. Было очень много крови. Мне было страшно и стыдно, хотя я не нарочно это сделал. У тети Стаси от прежнего богатства остались два перочинных ножичка с перламутровой отделкой и дамский блокнотик с золоченой крышкой, украшенный плоским камнем под названием «золотой песок» – он действительно сиял и переливался золотом. И тетя Стася говорила мне: «Вот выиграю по облигациям, подарю тебе один перочинный ножичек. Выберешь какой. Или в наследство оставлю». Но по облигациям она не выиграла, а когда умерла, я не стал напоминать про это обещание ее дочке Алле Феликсовне. Тем более что было мне тогда лет восемь.

Еще у тети Стаси были бирюльки, самые настоящие. Целый мешок крошечных, выточенных из слоновой кости чашечек, рюмочек, вазочек, калачей и бубликов, а также цветочков, жучков, бабочек и прочих штучек. И крючки для бирюлек – примерно в две спички длиной и в три спички толщиной палочки, тоже из слоновой кости с черными крючочками на конце. Игра в бирюльки состояла в том, что куча этих крохотных штучек высыпалась на стол, а играющие должны были ее по очереди разбирать. Но вытащить, к примеру, чашку так, чтобы соседние штучки не стронулись с места и не посыпались. Дурацкое занятие. Пасьянс гораздо интереснее. Пасьянсы тетя Стася тоже раскладывала и учила меня. Но я, кажется, то ли не научился, то ли уже забыл.

## 11. Первые смерти

Дочка бабы Ани Муза вместе с мужем Мишей, майором, жила в Мурманске. У Музы родился третий сын, мой двоюродный брат Витя, и баба Аня поехала в Мурманск помогать дочери с ребенком и вообще подсобить и облегчить ей жизнь. Там у нее случился приступ диабета, диабетическая кома, из которой ее не смогли вывести, и она умерла. Помню это утро, когда я проснулся в своей кровати напротив родительской. Папа уже встал, а мама лежала в постели – вернее, поверх одеяла, полуодетая, и плакала. «Что такое?» – спросил я. Папа вышел из-за шкафа и сказал: «Бабушка Аня умерла». Я тоже, кажется, заплакал. Потому что я любил бабу Аню, хотя все это было мне совершенно непонятно.

Слово «умерла» или «умер» было для меня просто словом. В свои семь лет я ни разу не видел покойника. Хотя нет, у нас в домоуправлении умер какой-то то ли электрик, то ли слесарь Иван Палыч. Его провожали в красном уголке, в том самом, где Нина Петровна Хрущева читала вслух газету «Правда» дворникам и сантехникам. Мы с Володей Кулагиным, соседом моим по квартире, протиснулись поближе и увидели бледный профиль на фоне желтого края гроба. Повернулись и вышли. «Иван Палыч умер», – сказал Володя. «Да-да», – сказал я. Не могу сказать, что это произвело на меня какое-то особое впечатление.

Но бабушка – другое дело. Я понимал, что бабушка умерла, и значит, я уже не смогу ходить к ней на Третью Песчаную, кататься зимой на санках с горы за домом, гулять у речки Таракановки (сейчас ее нет, забрали в коллектор), играть с медалями дяди Жени, рассматривать картинку с этим страшным криворуким уродом. И вообще бабушки больше не будет. Но все равно, это были какие-то словесные мысли. А мама лежала на кровати, всхлипывала и повторяла странную фразу: «Боже мой, мать умерла. Боже мой, мать умерла».

Я, наверное, и вправду был холодным и бесчувственным мальчиком, потому что уже тогда, в свои шесть или семь лет, я ощутил эту фразу как – не обижайся, мама! – не то чтобы фальшивую, но – искусственную, затверженную, ненастоящую. Я не знал, а честно говоря, и сейчас не знаю, как надо горевать по-настоящему. Но зато точно знаю, как не надо. Фраза «Боже мой, мать умерла» мне показалась тем более странной, что моя мама не так уж много времени проводила с бабой Аней, не так уж сильно беспокоилась о ее жизни. Во всяком случае, когда я ездил к бабе Ане, не помню, чтобы мне вручались какие-то гостинцы. Но, может быть, я забыл или не знал; их дела. Потом пришел дедушка и сказал тоже фразу странную, на мой тогдашний детский взгляд: «Потерял подругу жизни», – сказал дедушка, обращаясь ко мне. Когда лет через десять умерла моя бабушка Рита, папа просто заплакал и обнял меня, не говоря ни слова. Бабушка Рита умерла в мое отсутствие – был Новый год, и меня отправили на несколько дней на дачу к приятелю; и когда я вернулся и папа обнял меня и заплакал, я сразу понял, что случилось и что это большое горе. Впрочем, не осуждайте, да не осуждены будете. Думаю, что эта знаменитая фраза годится именно и только для таких ситуаций.

Бабушку Аню надо было хоронить в Москве, а значит, перевезти из Мурманска тело. Сами понимаете, какая задача для 1957 года. Помог друг маминой подруги. Его звали Исаак Махлин, а подругу – Анжелика Дмитриевна Гаврикова. Она была танцовщица, какое-то время, кажется, тоже в «Березке» работала и подружилась с мамой. Чудесная была тетка в смысле доброты, простодушия и жизненной силы.

Помню, как через много лет моя мама страдала от щитовидки – от гипертиреоза, пардон, – но операцию делать боялась. У нее как раз недавно родилась моя сестра Ксения. Маму сильно прихватило, она уже почти ходить не могла – так ослабла. И вот пришла к ней Анжела (ее часто звали именно так, не Анжелика, а Анжела) навестить. Села рядом с кроватью. Мама ей говорит, вся в слезах: «Вот, Анжелочка, совсем я заболела. Совсем помираю. А главное,

Дениске еще шестнадцать, Ксюша вообще ребенок. Витя (то есть мой папа) один останется. Страшно, очень страшно умирать, их оставлять».

Анжела ей говорит: «Ничего, подруга, не горюй! Дениске поможем в институт поступить, Ксюшку всем миром вырастим и Вите твоему найдем хорошую жену! Так что не плачь». Мама подумала-подумала и все-таки решила идти на операцию. И прожила еще лет сорок.

Так вот. Анжелика Дмитриевна была очень яркая женщина, и у нее было много поклонников, в том числе знаменитый конференсье Михаил Гаркави, прототип Жоржа Бенгальского из «Мастера и Маргариты». Но всех победил Исаак Махлин. «Представляешь себе, подруга, – говорила Анжелика моей маме, – можно сказать, первый раз настоящего мужчину встретила. Приглашаю его, значит, к себе. Заходим мы с ним перед этим делом в «Елисеевский», и он берет водку не «Московскую», а «Столичную», ветчины не триста граммов, а полкило. Вот это я понимаю – широкий человек, настоящий мужик». (Для интересующихся. Разница в цене между «Московской» водкой и «Столичной» составляла ровно 25 копеек.) Однако Исаак действительно оказался настоящим мужиком и верным другом. Важный чиновник Министерства путей сообщения, он запросто организовал вагон, чтобы перевезти в Москву из Мурманска гроб с телом бабы Ани.

На похороны меня не взяли, хотя я просился. «Тебе рано», – сказала мама.

Дедушка Вася умер в 1961 году. У него прямо после войны случился рак желудка. Известный хирург-онколог профессор Гуляев сделал ему удачную операцию. Вырезал чуть ли не три четверти желудка, поэтому дедушка Вася почти, можно сказать, не ел. Пол-ложки того, пол-ложки сего, и все. Правда, выпивал. Причем пил самый настоящий «ерш». Бестрепетной рукой наливал в стакан сто граммов водки и сверху столько же пива. Дедушка Вася считал, что излечился от рака совершенно закономерно, потому что в Гражданскую войну его расстреливали вместе с целой группой попавших в плен бойцов, но пуля только чуть-чуть ранила его в какое-то неопасное мягкое место, и ночью он выполз из-под горы трупов. Хотя натерпелся страху, когда по людям, согнанным в угол двора, стреляли из пулемета. Но, считал дедушка Вася, видно, его Бог хранил, и излечение от рака в 1946 году было тому дополнительным свидетельством. Однако через пятнадцать лет случился рецидив. Оперировал тот же самый профессор Гуляев, которого разыскала мама. Мама рассказывала: чтобы уговорить Гуляева, она напонила ему, что он уже резал этого больного и что для него, наверное, это интересный больной. Но знаменитый хирург возмутился именно на этих словах, прямо раскричался. «Какая глупость! – кричал он. – Какая ерунда! Интересный больной! Мне интересно, чтобы люди не болели, а были живы и здоровы! Ничего интересного – второй раз резать тот же самый рак». Однако согласился, но сделать ничего не смог – было уже поздно.

Тут было еще одно ужасное совпадение. Именно в этот самый день, когда моего папу приняли в Союз писателей, Гуляев подтвердил фатальный диагноз дедушки. То есть настоящей радости не получилось.

Бабушка Аня умерла до того, как я пошел в школу. И вот перед тем, как начать рассказывать о школе, хочется еще чуточку поговорить о нашей квартире. Как ни странно, эта квартира, хотя и была подвальная, вся какая-то светлая, яркая – в отличие от квартиры бабушки Риты. Может быть, все дело в том, что там были желтые стены и красивый желтый паркет. Или лампочек было много. Не знаю. Но впечатление осталось чего-то яркого, светлого, чуть ли не солнечного. Вот тут, в этой квартире, я наконец помню, как меня мыли в ванне.

Ванная комната была просторной, с большой раковиной, вокруг которой стояли стаканчики с зубными щетками и зубными порошками всех соседей. Зубные порошки были либо в круглых картонных коробочках, либо более дорогие, фасонистые, в жестяных квадратных. У кого-то лежали футляры с безопасными бритвами и, как всегда, несколько мыльниц, пласт-



массовых, разноцветных, закрытых, и большой кусок мыла, так сказать, общего пользования. Ванна была белая, очень чистая. В эту ванну меня раз в неделю ставила мама и мыла, вытянув руки. Почему вытянув руки? Потому что душ на меня лился сверху, дождик, как его тогда называли. А гибких душей тогда еще не было.

Мама рассказывала, что в войну, когда кто-то из маршалов приезжал на несколько дней в Москву, в доме на вечер-другой давали горячую воду – чтоб полководец мог вымыться как следует. Вся квартира под это дело мылась тоже.

С Алёнкой и Володи мы часто играли в странную игру. Она называлась «Зайки в поезде». Собственно, это была даже не игра, а не поймешь что. Мы воображали себя зайцами, которые едут в поезде непонятно куда и непонятно откуда. В коридоре ставили стулья (каждый тянул стул из своей комнаты) в рядок. Садись один за другим, делали «чух-чух-чух» и смотрели в стену, как будто это окно вагона, делились впечатлениями о том, что мы там как будто видели: вон лес, вон речка, вон дом, вон по мосту едем. Иногда что-то ели. Жевали кусочек хлеба. Это называлось «Зайки в поезде обедают». Вот, собственно говоря, и все. Непонятно, почему нам так нравилась эта игра. Юра Черногоров, отец Алёнки, смастерил нам из картона заячьи уши. Не очень длинные, но вполне выразительные: картонная полоска с торчащими ушками и шнурочки внизу, так что ее можно было надевать на голову и завязывать под подбородком. Мы были в полном восторге.

Юра Черногоров любил отпускать пошловатые шутки – не в смысле неприличия, а в смысле полной дури. Например: «Вечернее платье – это что такое? В вечернюю смену в нем работать, что ли? Выходной костюм? Это чтоб на двор выйти?» Мы знали, что «на двор» означает «по нужде», и поэтому смеялись.

Судьба его была ужасна. Они с Галей и Алёнкой первыми из нашего подвала получили отдельную квартиру в новом доме, в хрущевской пятиэтажке. И в самый первый день (это рассказала пришедшая к нам рыдающая Галя), вот буквально вечером того дня, как они въехали в эту квартиру и еще не разобрали вещи, Юра решил повесить полку и в одних трусах (почему-то Галя это подчеркивала) и босиком взял электродрель и стал сверлить в стенке дырку. Попал в электрический кабель и умер от удара током в ту же секунду. Но, говорили соседки, Галя плакала недолго и вышла замуж за полковника, который, представьте себе, на ЗИМе ездил. То есть, наверное, это был важный полковник – если этот ЗИМ был у него служебный. Или богатый – потому что ЗИМ можно было свободно купить в магазине. На ЗИМ, в отличие от «москвича» и «победы», не было никакой очереди. Почему? Потому что «москвич» стоил старыми деньгами девять тысяч рублей, «Победа» – шестнадцать, а ЗИМ целых сорок. Несусветные деньги, да еще и бензина сколько жрет.

У нас были велосипеды.

У меня сначала трехколесный, который переделали в двухколесный, с прямой передачей. То есть без муфты свободного хода. Если еще проще – всегда вертелись педали. А потом у меня появился нормальный велик, марки «Орленок». Я очень гордился, что миновал промежуточную стадию между совсем детским велосипедом и подростковым «Орленком», а именно – велосипед марки «Школьник». А вот у Володи Кулагина был настоящий, тяжелый взрослый велосипед марки «Украина». Наши велосипеды стояли в коридоре у стенки подле дверей.

А однажды Володя пришел домой вместе со своей мамой Милочкой, и у него в руках был щенок. Желтенький щенок по имени Билли. «Какая порода?» – спросил я у Володи. «А ты что, сам не видишь? Немецкая овчарка». Они купили его на Птичьем рынке. Я как-то не был уверен, что это настоящая немецкая овчарка, потому что щенок был довольно subtilный и лапки не такие толстые, как у овчарок. Но Володя все время уговаривал себя и нас: «Настоящая немецкая овчарка». И гладил своего Билли между ушей и приговаривал: «Как я мечтал,

что у меня будет настоящая немецкая овчарка. И вот теперь у меня есть настоящая немецкая овчарка», – повторял он по сто раз в день.

Щеночек рос. Но примерно через полгода стало ясно, что если это и овчарка, то уж точно не немецкая. Или если немецкая, то ненастоящая. Но Володя не расстраивался.

Милочка Кулагина умерла внезапно. Володя пришел из школы, а сестра Ира сказала ему: «Мама умерла». Он сел на табуретку в кухне. «Иди попрощайся, – сказала Ира. – Сейчас ее увезут». – «А это страшно?» – спросил Володя. «Ничего», – сказала Ира. Взяла его за руку и увела в комнату, где, кажется, уже возились санитары с носилками. Потом соседи стали заходить – попрощаться с бедной Милочкой. Я тоже хотел, но мама меня не пустила. Почему-то мама очень берегла меня от столь необходимых впечатлений.

Еще я помню, как у нас в доме умер мальчик, из тех, кто жил на верхних этажах. Внук одного крупного деятеля. Умер в четырнадцать лет от рака, как говорили во дворе. Странное дело, что я помню, как он смотрел во двор из окна и даже махал нам рукой, и мы ему махали тоже. Я спросил: «А чего он не выходит-то?» И мне кто-то шепотом сказал: «У него рак, он вообще скоро умрет». И вот он умер, и по старому обычаю дверь в эту квартиру открылась, и уж не знаю, кто кого приглашал, но по двору разнеслось, что можно прийти и попрощаться с этим бедным парнем. Это обсуждали во дворе. Кто-то говорил: «Надо пойти, его родителям уважение оказать». А кто-то возражал: «Может быть, им только тяжелее станет, незнакомые люди приходят, плятятся и озираются». – «Зачем озираются?» – раздавался голос (разговор шел в группе женщин). «Ну как же, хоть вполглаза посмотреть, как начальство живет, какие у них там кресла да люстры». – «А ты не озирайся, – возражали в ответ. – Подойди к гробику, поклонись и назад, глазки в пол». В этой группе я вдруг заметил свою маму. Она была в ярко-черном платье сильно в талию, но с пышной юбкой из какого-то, как тогда говорили, жатого материала, то есть в пупырышках. Наверное, мама тоже собиралась идти попрощаться с бедным мальчиком, но, послушав эти разговоры, вдруг повернулась и пошла назад. То есть раздумала. «Откуда у тебя такое платье? – спросил я у мамы вечером. – Такое черное и все такое фу-фу-фу?» – «У Милочки Кулагинной одолжила», – сказала мама. Значит, Милочка тогда была еще жива. А может быть, если Милочка к тому времени уже умерла, это платье мама взяла у Иры, ее дочери. Поди знай!

Ира была милая девушка, как тогда говорили, стилижистая. Носила темные очки, большие круглые серьги, очень разноцветную одежду. Бывали смешные моменты, когда Ирочка ждала какого-то важного для нее звонка – наверное, кавалер должен был позвонить. Поэтому она бросалась к телефону на каждый звонок, а телефон, как в любой коммуналке, стоял в коридоре на полочке. Хватала трубку и говорила томным, нежным, женственным, чуть низковатым и немножко заграничным голосом: «Аллоуу». Но там звали кого-то другого, например Галю Черногорову или Тамару Санглебаеву, и тогда Ирочка швыряла трубку на полку и кричала пронзительным, простецким и даже базарным голосом: «Тамаркя-я!» или «Галкя-я!».

Наш телефон был К7–64–71. Мама рассказывала, что когда они там жили до войны, то телефоны соединялись вручную через телефонистку и вместо К7 надо было говорить «Кремль», то есть телефон этой квартиры звучал как Кремль–64–71. Мама очень этим гордилась, но при этом самокритично рассказывала известный анекдот: «Где вы работаете? – В Кремле. – О-о! – Дворником. – У-у...»

У папы началась гипертония. «Затылок болит», – говорил он. Именно затылок, а не просто голова. Поэтому с детства, когда у меня болела голова, я всегда проверял, не затылок ли у меня болит, потому что очень не хотелось быть гипертоником. К папе приходил частный доктор, фамилия его была Волынский. Он был рыжий, сильно косоглазый наружу, и глаза разного цвета: карий и зеленый. Он измерял папе давление, прописывал какие-то таблетки, а потом, получив конвертик с гонораром, раскрывал портфель и доставал оттуда бутылку почему-то

портвейна. Я точно помню, что это была не водка и не коньяк. «Что вы делаете?» – говорила мама. А он, подмигивая ей своими разными глазами, говорил: «С доктором – можно».

Кнам часто приходили гости. Однажды один папин друг получил звание заслуженного артиста РСФСР. Смешно, но это праздновали у нас дома, а не у него. Это меня почему-то развеселило и утешило. Получается, что заслуженный артист и его красивая жена, тоже артистка, были еще беднее нас, раз у них не было возможности пригласить к себе друзей. Было человек десять или даже больше. Пили, веселились. А я – стыдно вспомнить – всё подсчитывал ступеньки на социальной лестнице. Наверное, сам факт жизни в подвале дома на улице Грановского оставил на мне какой-то невыводимый след. Во всех моих новеллах социальность соревнуется с сексуальностью и часто одерживает верх.

## 12. Брат Лёня и бабушка Рита

Бабушку Риту я очень любил. Конечно, не так, как маму и папу, совершенно по-другому, но привязан был к ней ужасно. Может быть, все объясняется просто – потому что первые годы я прожил не с мамой, а с бабушкой. Бабушки Риты в моей детской жизни было больше, чем мамы, чем папы, чем няни.

Мой старший брат Лёня, Леонид Викторович, звал ее «Барита». И он мне об этом рассказал, и сама бабушка просила меня называть ее так, но у меня не получалось. Я звал ее обычно «бабушка» или – редко – «баба Рита». То есть она была у меня просто бабушкой, а уже бабушка Аня – бабой Аней.

Лёня тоже очень ее любил, потому что она точно так же была с ним почти все детство. Кстати говоря, мой брат Лёня, старше меня на тринадцать с половиной лет, бывал у нас очень часто – несмотря на то, что мой папа давным-давно развелся с его мамой Лялей Корниловой. Не могу сказать, чтоб мы с ним прямо так уж сильно дружили. Это было какими-то моментами, уступами, всплесками – особенно когда я стал почти взрослым. Были времена, когда мы с ним постоянно перезванивались, встречались, выпивали – а бывало, что расставались надолго. Почему? Да нипочему, как-то так. Но при этом все мы – и папа, и мама, и я – считали его членом семьи. Лёня приводил к нам своих девушек – помню одну очень яркую болгарку; она причесывалась в передней, подняла руки, блузка чуть задралась, и я увидел, что юбка на талии подхвачена большой английской булавкой. Почему я это так ясно помню?

Потом он пришел с девушкой Наташей, на которой женился и прожил с ней до своей смерти в семидесятилетнем возрасте. У них родилась дочь, моя племянница Лида, Ликуня, с которой мы дружим.

Лёня был журналистом, и, как говорят все его друзья, журналистом выдающимся. Но он, хотя и написал в своей жизни несколько книг и массу статей, был журналистом не пишущим, а именно что газетчиком, редактором, мастером создания номера, его архитектором, выдумщиком и заказчиком темы, виртуозом компоновки полосы и разворота, изобретателем шапок, заголовков, артистом рубрик и подписей к рисункам и фотографиям. Кроме того, организатором материалов. Это поистине редкий дар. В общем, Лёня был настоящим ответственным секретарем, кем он и работал долгое время в замечательной газете «Неделя» (воскресное приложение к «Известиям»). За «Неделей» выстраивались очереди к киоскам подлиннее, чем за «Московскими новостями» в перестроечные годы. Газета была просто превосходная. Если это прочтут старики, они со мной согласятся. Потом Лёня стал в «Неделе» замом главного, а потом (это была награда и признание заслуг) был отправлен собкором «Известий» в Прагу. В Праге его очень любили чешские журналисты, хотя к остальным советским деятелям прессы после 1968 года они относились с понятной настороженностью. Но Лёня легко получал встречи, интервью и даже устраивал телевизионные съемки для своих московских коллег, потому что «Леонид Корнилов» – это имя было паролем, оно открывало в Праге все двери, в том числе самые антисоветские.

Фамилия у него была по матери. Хотя поначалу, когда он учился в университете, он был Драгунский, но сменил фамилию, кажется, как раз тогда, когда вышли первые рассказы моего отца. Эта конкуренция имен ему не нравилась, и совершенно правильно. У него были очень интересные друзья, школьные и университетские, не говоря уже о газетных. Из друзей его детства самым прекрасным был Валуша – киносценарист Владимир Валуцкий, муж Аллы Демидовой. Лёня смешно рассказывал, как они с Валушей, когда им было лет по четырнадцать, ездили в Ленинград. Получается, они дружили еще до университета. А надобно сказать, что дедушка Лёни, то есть отец его мамы Ляли Корниловой, был довольно крупный церков-

ный деятель, чуть ли не управделами патриархии. Позже Лёня, уже студент экономического факультета, помогал ему составлять и пересчитывать епархиальные сметы. Так вот, Лёня рассказывал, как они с Валушей приехали в Ленинград и там их встречал строгий старик с бородой и в подряснике, надетом под длинное драповое пальто, посадил ажно в целый ЗИМ и на этом ЗИМе отвез в гостиницу, просто роскошную, с точки зрения московских подростков. А в номере на стене висело огромное изображение обнаженной женщины. Лёня почувствовал некий, как выразились бы сейчас, когнитивный диссонанс и воззрился сначала на эту картину, потом на этого монаха, потом снова на картину, не понимая, как это все вообще может сочетаться. На что монах сказал: «Ничего, дети мои, ничего», перекрестил их, оставил им деньги на столике и ушел.

Казалось бы, дурацкая история ни про что, даже не история, а зарисовка, штрих, мазок кисточкой: 1951 год, два старших школьника, монах на ЗИМе, гостиница с голой бабой во всю стену. Ну и что? А ничего. Вся наша жизнь в 1950-е годы была такая, вроде бы ни про что, нелепая и забавная.

Помню, как справляли Лёнино двадцатилетие. Мы собрались идти всей семьей. Мне было почти семь лет. Мне не терпелось. Я спросил: «Когда мы пойдем к Лёне?» Папа сказал: «Через час». Я сказал: «А через час это сколько?» – «Через шестьдесят минут», – сказал папа. Странно, но, наверное, до того момента мне не приходилось измерять время. «А сколько это – шестьдесят минут?» – спросил я. Папа снял с руки часы...

У него были швейцарские часы редкой, но хорошей фирмы «Сима», которые мама привезла ему из-за границы. Ей понравилось, что эти часы лежали в аквариуме с рыбками, то есть были водонепроницаемыми. Когда папа умер, мама стала их носить сама. А потом они куда-то делись. После маминой смерти Ксюша, моя сестра, честно пыталась их разыскать. Но не нашла. А теперь уже и Ксюши нет. Так что с часами – всё.

Папа дал мне свои часы, посадил меня на диван и сказал, показывая на секундную стрелку: «Вот когда эта стрелочка обойдет круг один раз, это значит – прошла минута. А шестьдесят раз – это час. Понял?» И хотел взять у меня часы, чтобы снова надеть на руку. Но я сказал: «Не надо, не забирай. Я буду следить». Папа засмеялся, и они с мамой занялись какими-то своими делами. А я сидел и как дурак считал минуты. И, я это прекрасно помню, досчитал ровно до шестидесяти. Мама и папа, мне кажется, уже были готовы, они просто не хотели меня отрывать от столь важного и интересного занятия.

Пришли. Квартира была большая, в первом этаже, с низкими окнами, смотревшими в еще снежный сад – было начало марта. Гостей было много. Но по-настоящему я запомнил кота, которому кидали какие-то специальные шарики, свернутые из серебряных конфетных бумажек, кот любил в них играть. Этих шариков было полно, и они были повсюду – на полу, на диванах. Еще я запомнил большую квадратную салатницу. Поверх салата шпротами была выложена цифра 20 – забавно, что не римская, а арабская.

Вторым мужем Ляли Корниловой, Лёниной мамы, был Андрей Леонидович Баратов, бывший актер МХАТа, чудесный джентльмен небольшого роста, всегда в черном костюме, белой сорочке с бабочкой и с лауреатской медалью на пиджаке (не знаю, за что он ее получил). Он был сыном знаменитого оперного режиссера Леонида Баратова, создателя большого стиля советской оперы, постановщика мощных и пышных версий «Бориса Годунова», «Хованщины» и прочей русской оперной классики, за что и получил целых пять Сталинских премий. Андрей же Леонидович, или просто Андрюша Баратов, как его звали в нашей семье, был директором Музея-квартиры Немировича-Данченко в доме на улице его имени (ныне снова Глинищевский переулок). Когда я вспоминаю Андрея Леонидовича, я снова и снова бью себя кулаками по лысине и так и слышу, как он десять, а может быть, сто раз говорит мне: «Денис! Приходи

ко мне в музей. Там такие неизданные письма Немировича и к нему! Там такие потрясающе смешные пометки на книгах, заметки на полях пьес. Там такие фотографии, которые нигде не опубликованы. Приходи туда в нерабочий день, я специально приду, посажу тебя на диван, и будешь читать, смотреть, разглядывать что хочешь». Я говорил: «Да-да, конечно, большое спасибо, обязательно» – и бежал на какое-нибудь дурацкое свидание или еще более дурацкую пьянку где-нибудь на Ленинских горах между корпусами общежития на скамеечке в кустах. Господи боже ты мой! А иногда я думал: вот пойдя я тогда в этот дом-музей, просиди я там пять или восемь вечеров в окружении этих драгоценных документов, что-нибудь бы в моей жизни изменилось? А если да, то в какую сторону? Нет ответа.

Лёня сначала поступил в Институт восточных языков при МГУ, изучал китайский. Но потом что-то не сложилось. Заскучал, наверно, и перешел на экономфак. Там примерно в 1957 году случился замечательный скандал. Лёня вместе с Валушей и прочими друзьями записали на магнитофон такую, что ли, самодеятельную радиопостановку под названием «Кремлевские куранты». Именно в этих «Курантах» и были впервые «озвучены» в прямом смысле слова и впервые представлены публике сочиненные двадцатилетними студентами впоследствии знаменитые анекдоты про Ленина типа: «Что это за грохот? Ах, это Железный Феликс с кровати упал», «Октябрьская революция переносится на пятницу», «Был у нас бардачок, замаскированный под политическую сходку. Нагрянули жандармы, кто куда, а мы с Наденькой под стол, тут-то я ее и трахнул!» и так далее, и так далее. Разумеется, кто-то донес. Но время было такое странное: Сталина только что скovyрнули со всех пьедесталов, а Хрущев еще не вошел в силу самовластья. Поэтому озорников решили простить.

Потом, после работы в Праге, Лёня стал заведовать отделом в «Известиях», а потом уехал собкором в Варшаву. Но тут-то «Известия» и кончились – прежние, тогдашние «Известия».

Поэтому вернемся к бабушке.

Бабушка приходила ко мне, к своему любимому внуку, не только на улицу Грановского – и когда мама работала, и когда ушла с работы после того, как я пошел в первый класс. А когда я уже вполне подросток и мы переехали в Каретный Ряд, бабушка часто приходила в гости ко мне. Именно ко мне! Это я звонил ей и просил приехать. Бабушка жила на Покровке, а мы жили на углу Садовой и Каретного, поэтому бабушка доползала, как она сама выражалась, до Земляного Вала, который был частью Садового кольца, садилась на троллейбус и ехала ко мне. Была тогда такая песня – «И снег, и ветер, и звезд ночной полет, и что-то там такое в тревожную даль зовет». Кажется, Пахмутова. Вот и бабушка напевала: «И в дождь, и в ветер бабушка к внуку идет, идет, идет».

С ней было интересно. Она рассказывала истории из своей жизни, про город Гомель, про свое детство, про жизнь гомельской бедноты в городском районе, который назывался, по бабушкиным словам, «Руй». Бабушка объясняла, что это значит «ров», не знаю, на каком языке. Может быть, даже на белорусском. Там жили бедные многодетные горластые бабы и их худые бестолковые мужья. Этих людей звали «хлюмпер-пролетариат» от слова «хлюмпер», что означает «длинная юбка». Бабушка разыгрывала сценки из жизни какой-то Бончихи и ее мужа по имени Лейзер-Бабуш. Все эти скандалы кончались словами «их как аф дир», что в переводе «срала я на тебя». Надо признаться, все бабушкины шутки были жутко фекальные. Бесконечные словечки типа «штик дрек» (кусоч дерьма), «кус мир ин тохес» («поцелуй меня в жопу»). Ах, сколько раз мне приходилось спорить с друзьями-евреями, которые уверяли меня, что нужно говорить не «кус ин тохес», а «киш ин тухес». Наверное, это диалектные различия. Последний вариант более южный, а первый ближе к Литве. И было еще очень кудрявое выражение «Блишет ви а куце дрек нохн регн афн зун», что в переводе означало «Сияет, как куча говна после дождя на солнце». Аналог русскому «сияет, как медный грош». Это сильно славянизированный идиш: «блишет» вместо «шейнт» или «функлт», «куце» вместо «хойфн». А

еще несколько антисемитская поговорка, забавная в устах моей бабушки: «Тряслцахт ви а ид ибер дрек» – «трясется, как жид над говном» (что-то вроде «дурака с писаной торбой»; и опять же «тряслцахт» вместо «шоклт»). Двойное сознание интеллигентной еврейки: бабушка всех подозревала в антисемитизме, но сама постоянно насмехалась над «еврейскими штучками». Оно и понятно: отец ее был социал-демократ, неверующий, и правоверные старички не раз ее – девочку, гимназистку – за это поругивали, когда она шла мимо синагоги. Но при этом она пела жалобную песенку «Городишко Шклов, родина моя» с припевом: «Если ты рожден евреем, мы тебя не пожалеем, слез твоих никто не видит, кто захочет, тот обидит».

Мама смеялась над еврейской манерой везде искать антисемитов. Рассказывала, что сама видела в «Елисеевском»: старушка долго выбирает сыр, то ей с красной корочкой, то с желтой, то кусочком, то нарезать (кстати, друзья! В те времена в магазине продавец по просьбе покупателя мог нарезать сыр или колбасу) – и вот когда задерганная продавщица вежливо говорит: «Вы, гражданочка, сначала подумайте и решите, что вам надо, а потом уж спрашивайте», старушка в ответ кричит: «Антисемитка!» Мне уже тогда казалось, что мама выдумала эту сценку. Мама повторяла противным визгливым голосом: «Антисемитка! Антисемитка!» – и хохотала. Мама, эталонная русская красавица.

Еврейство было для меня вечным вопросом. Я считал себя русским насквозь, вдоль и поперек. С 1957 года, когда Кремль открыли для посещения, я проводил там по полдня, облазил все кремлевские соборы, обсмотрел все иконостасы, все надгробия митрополитов в Успенском соборе и царей в Архангельском, любовался фантастическими росписями собора Благовещенского. Спас Нерукотворный. Спас Ярое Око. Деисусный чин Феофана Грека. Праздничный чин Андрея Рублева и учителя его Прохора с Городца – я повторял эти слова восторженным шепотом.

Я тайком учил «Отче наш» и читал Евангелие (у мамы было драгоценное издание 1838 года в бархатном переплете с эмалевым медальоном). Я пытался писать старой орфографией. Рисовал в тетрадке двуглавых орлов, скипетры и державы, трехцветные флаги и писал слово «Россия» вот так: «Россія». То есть я был вдобавок еще и монархист, выходит.

Но при этом я знал, что я – наполовину еврей, и ненавидел мамины разговоры о том, что по еврейскому закону я вовсе не еврей. Хотя, повторяю, ощущал себя русским. «По еврейскому закону, – говорила мне мама, – евреем считается тот, у кого мама еврейка, и это правильно. Надо бы, чтоб и с русскими так, и со всеми». – «Почему?» – «Потому что только женщина может знать, кто отец ее ребенка», – холодно говорила мама. Мне чувствовалось в этом что-то лишнее, опасное и нехорошее. Особенно же неприятно было, что и среди русских и среди евреев я не окончательно свой.

Но уж никуда не денешься.

Бабушка училась в Гомеле в частной гимназии и, конечно, изучала латынь. Она научила меня петь «Гаудеамус». А когда я подрос, научила еще одному латинскому гимназическому стишку – очевидно, это был отрывок из чего-то длинного, но вот что сохранила бабушкина память: «Интер педес эст фигура, магна, лонга эт обскура», что в переводе значит: «Между ног есть штука, большая, длинная и темная». Ужасно неприлично. Бабушка смеялась. Я смеялся тоже. Бабушка любила рискованные шутки. «У нее такие красивые волосы!» – говорил я о знакомой девочке. «На голове?» – уточняла бабушка. Я не сразу понял, а когда понял, покраснел.

Бабушка читала мне стихи. Всего три стихотворения. Страшного «Лесного царя» Гёте, причем первые строки по-немецки: «*Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind*» («Кто скачет, кто мчится под холодной мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой»), а дальше по-русски. Еще – смешную и трогательную «Куклу» Владислава Сырокомли и патетическую балладу Гартмана «Белое покрывало, или Святая ложь», где мать приговоренного к смерти венгерского графа обманывает сына, говорит, что по решению короля

его помилуют прямо на виселице. Графа, однако, вешают, хотя он до последней секунды улыбается, ожидая спасения. И последние строки: «Так солгать могла лишь мать, полна боязнь, чтоб сын не дрогнул перед казнью». Я задумался. То есть мама этого графа беспокоилась не о том, что ее сына повесят, а о том, как он поведет себя на эшафоте. Интересно. Я много об этом думал тогда, в десять лет, думаю и теперь.

А еще я тогда же думал вот о чем: эти бабушкины стихи были очень возвышенными, романтическими, а все ее шутки – про жопу, какашки и прочие низменные телесные штучки. «Диалектика верха и низа!» – вздыхал я; не такими, конечно, словами, но с тем же смыслом.

Иногда я задавал себе вопрос, неприятный на самом-то деле. Раньше мы жили в коммуналке вместе с бабушкой. Потом мы разъехались, стали жить в двух разных коммуналках. Но вот наконец папа и мама купили просто роскошную по тем временам кооперативную квартиру в доме артистов Большого театра и эстрады в Каретном Ряду. Почему же мы бабушку-то с собой не взяли? Я не знал обо всех хитростях обмена жилплощади в Советском Союзе, но потом, уже после бабушкиной смерти, я думал: у нас трехкомнатная квартира, по тогдашним меркам большая, 64 метра только жилой площади, широченный коридор и большая кухня. И у бабушки комната, пускай в коммуналке, но в центре. Угол Чистых и Покровки, центрее некуда, 25 метров. Неужели нельзя было из этого что-то выкрутить, выменять? Чтобы бабушка была с нами и не оставалась в этой темной комнате с вечно горящим над столом абажуром и горестным букетиком засушенных цветов под портретом погибшего младшего сына.

Возможно, все дело было в моей маме. Недаром, когда бабушка умирала, мама сказала, что она ее прощает. Наверное, она ее если не ненавидела, то просто терпеть не могла. Когда-то она жаловалась мне: «Когда я была молодая, она все время говорила мне, обрывая любое мое возражение и вообще любой мой разговор: «Алла, ты глупа как пробка»». Однажды мама сказала: «Она просто чудовище». Когда я услышал это в первый, второй и третий раз, мне стало не по себе. Моя бабушка, такая милая, добрая, веселая, такая преданная мне, а значит, и всей нашей семье, а значит, и маме, поскольку так заботилась о ее сыне, то есть обо мне, и вдруг – чудовище. Я так этим был поражен, что однажды даже посоветовался со своей подружкой. Была у меня одноклассница, умная девочка, красивая, из высшего общества, и звали ее тоже очень хорошо – Катя Московская. В нее все были влюблены, она действительно была очень хорошенькая и, как потом оказалось, талантливая художница. Уже много лет она живет в Америке, мы с ней иногда переписываемся. Кстати говоря, была долгое время возлюбленной Алеши Паустовского, сына знаменитого писателя, о чем написала довольно интересную книжку. Так вот, Катя Московская со мной дружила, просто дружила. Бывала у меня дома, а я у нее, мы подолгу с ней разговаривали. Так бывало в наше время – думаю, и сейчас тоже бывает. С красивой девочкой можно дружить, дружить близко и довольно крепко – в этом был своеобразный шик. Так вот, однажды Катя была у меня в гостях, и как раз тогда у нас была бабушка. Я их познакомил. Они о чем-то пощебетали, типа ах-ах, в каком вы классе? Ах-ах, какая погода. А потом, провожая Катю до лифта...

Это было частью упомянутого шика. Поскольку за Катей я не ухаживал, под ручку ее не держал и целоваться не лез, поэтому вовсе и не должен был провожать ее домой; достаточно было посадить ее в лифт на нашем одиннадцатом этаже, а дальше она уже до своей Маяковки добиралась пешочком, благо недалеко.

Перед лифтом я сказал Кате: «Ну и как тебе моя бабушка?» – «Да никак, – сказала Катя. – Бабушка и бабушка. Ну, милая старушка, если тебе так будет приятно». – «А говорят, что она просто чудовище, – сказал я. – Ты в ней что-то такое увидела? Скажи честно». – «Кто говорит?» – вместо ответа спросила Катя. «Не в том дело, – сказал я. – Нет, ты скажи, она



похожа на чудовище?» – «Твоя мама, что ли, говорит?» – «Какая ты хитрая», – сказал я. «Живу в большой семье! – засмеялась Катя (семья у нее и вправду была очень большая и сложно устроенная). – Не обращай внимания. Невестка и свекровь, обычное дело».

Тут и лифт подъехал. С первого этажа по одиннадцатый он шел у нас ровно минуту, то есть целую минуту, медленно шел, так что на этот диалог как раз хватило времени.

Катя уехала, а я почувствовал себя чуточку предателем, причем сразу двух любимых женщин – бабушки и мамы. Но потом решил, что минус на минус дает плюс, и спокойно вернулся в нашу квартиру 205, где бабушка лежала на тахте. Да, я и знакомил Катю с лежавшей на тахте бабушкой. У бабушки болела голова. У нее это случалось довольно часто. Она называла это словом «спазмы». «Кажется, у меня опять спазмы», – говорила она, садясь в кресло или ложась на кровать и закрывая глаза. Она говорила, что у нее темнеет в глазах, где-то слева мелькает яркая-яркая ниточка, похожая на молнию, не настоящую, а на молнию, как она бывает на фотографиях. Потом ниточка исчезала, тьма отступала, но зато начиналась дикая головная боль. Какая-то разновидность мигрени.

Когда я был в восьмом и девятом классе, я сам ходил навещать бабушку. Папа передавал ей деньги, небольшие, кстати говоря, кажется двадцать пять рублей в месяц. Что такое двадцать пять рублей в 1966 году? Как сейчас – сколько? Не знаю. Может быть, двадцать пять тысяч, а может быть, тридцать пять. В любом случае жидковато – имея в виду папины заработки. «О господи! Даруй мне, грешному, зреть свои прегрешения и не осуждать брата» – тем более когда этот брат – родной, любимый папа. Но все равно странно.

Иногда мне кажется: если бы меня спросили, что такое я (помните, в начале я все никак не мог ответить на этот вопрос): образование, одежда, руки-ноги-голова, еда, секс, друзья, город, квартира? Но это все какие-то частички безумного лего под названием «я». Но к любому лего полагается инструкция для сборки. Что это будет? Домик, кораблик, межпланетная ракета? Что? Где эта модель? Так вот. Когда я сейчас вспоминаю о том, как странны для меня были эти двадцать пять рублей и одинокая бабушкина комната, я начинаю понимать, что это за инструкция.

Звучит слишком научно-психологично, но уж извините: я – это мои отрицательные идентификации. Я – это не так, как папа, не так, как мама, не так, как вы все. Я – это до безразличности поражающее изумление поступком самого близкого и родного человека, каким тогда был мой папа. Потому что уж вот кого я любил сильнее всех, и, наверное, даже сильнее бабушки и мамы, вместе взятых, это был, конечно, папа. И однако: когда бабушка умерла, папа горько плакал, обняв меня в коридоре, куда я только что вошел, вернувшись с дачи своего приятеля, где я встречал Новый год. Куда меня, как я потом думал, ища себе оправданий, меня отправили мои родители на те дни, когда в больнице умирала моя бабушка.

Бабушкины похороны, вернее, кремация – это был первый раз, когда я вблизи и подробно увидел мертвого человека. Мне было шестнадцать лет, на прежние похороны мама с папой меня не брали.

Старый крематорий Донского кладбища. Маленький зал. На хорах – орган, скрипка и виолончель. Гроб, обтянутый темно-красной материей. Цветов не много. Горбоносый бабушкин профиль, мраморный – с прожилками – выпирающий лоб. Голос распорядительницы: «Подходите прощаться!» Мне было так страшно поцеловать мертвую бабушку, что я сначала перекрестился. Когда гроб уплыл вниз, бабушкина подруга Софья Наумовна громко вздохнула: «Финита ля комедия!» – и повторила это несколько раз.

Папа плакал. Потом моя мама рассказывала, что папа плакал ночами прямо как маленький – вскрикивал «мама, мама!», заливался слезами и кусал подушку. Просто тосковал, вспоминал детство? Может быть, каялся за бабушкино одиночество, за ее пустую темную комнату, за эти, третий раз повторяю, чертовы двадцать пять рублей? Однако примерно через месяц после бабушкиной смерти папа взял меня с собой, и мы с ним поехали в собес получать

двадцать рублей похоронного пособия, которое было положено бабушке. Вернее, ее родным и близким. Папа был в дубленке, в красивой пыжиковой шапке. К этому собесу мы подъехали на папиной – уже тогда новой, второй – светло-светло-серой, почти что белой «Волге» 21-й модели. Я в отчаянии подумал: «Папа, папа. Ну зачем тебе, богатому человеку и известному человеку, да еще подъехавшему на «Волге», так что все тетеньки из собеса (это было в каком-то глубоком дворе, мы туда пробирались узкими дорожками сквозь сугробы, зима была, бабушка умерла 2 января, то есть это был февраль, наверное, самое позднее) – да, все тетеньки-чиновницы из окон видели, как из шикарной машины вышел шикарный гражданин и пришел получать бедняцкий двадцатник на похороны старушки-матери, – зачем тебе эти два червонца?»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.